

# Иван Александрович Гончаров

## На родине

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1888, №№ 1 и 2. С незначительными поправками и измененным вступлением, которое в журнальной публикации было дано как извлечение из письма к редактору, включено в девятый, дополнительный, том собрания сочинений Гончарова 1889 г. по тексту которого и печатается. Черновая рукопись, помеченная Гончаровым: «Гунгербург. Август 1887 г.», хранится в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР в Ленинграде.

Гончаров работал над этими воспоминаниями летом 1887 г., живя на даче в Гунгербурге близ Усть-Нарвы. Эти воспоминания о симбирской жизни середины 30-х годов представлялись ему вначале «мелкими, пустыми, притом личными, интимными, не представляющими никакого общего и общественного интереса... Не наберешь и десяти страниц для печати...» (см. письмо к А. Ф. Кони от 26 июня 1887 г., т. 8 наст. изд.).

Позже он изменил свою оценку. Гончаров писал родным, посылая им оттиски воспоминаний, что «...не все так написано точь-в-точь, как было на самом деле... Целиком с натуры не пишется... надо обработать, очистить, вымести, убрать. Лжи никакой нет: многое взято верно, прямо с натуры, лица, характеры, например, крестного Якубова, губернатора и других, даже разговоры, сцены. Только кое-что украшено и покры-

то лаком. Это и называется художественная обработка». Та же мысль высказана в введении.

Герцен характеризует эпоху после разгрома декабристов как время, когда «все передовое и энергическое вычеркнуто из жизни, а дрянь александровского поколения заняла первое место». Гончаров и рисует типические фигуры этой «дряни»: сластолюбивого авантюриста Углицкого (губернатора Симбирска Загряжского), ранее неизвестного офицера, получившего губернаторство за верноподданические заслуги на Сенатской площади 14 декабря, его друга Сланцова, чиновников-взяточников Добышева, Янова, приживалок Лину и Чучу и т. п. Бравин также является фигурой типической для провинциального общества, интересы которого не простираются дальше взяток, сплетен и карт. Однако в данном случае гончаров отошел от «натуры»: прототипом Бравина был выделявшийся в этой среде князь М. П. Баратаев, человек широко образованный, лично близкий с многими декабристами.

Возможно, не желая также нарушить цельность изображаемой картины или просто по неосведомленности, Гончаров не противопоставил этим провинциальным чиновникам и обывателям жизнь передовых людей Симбирска. В Симбирске жили родители декабриста Ивашева, получавшие письма из Сибири от него и его жены, в Симбирск часто приезжал поэт-партизан Давыдов, в Симбирск именно в это время был сослан друг Герцена и Огарева Н. М. Сатин.

Гончаров вскользь говорит о жандармском полковнике Сигове, на которого он тогда «смотрел большими глазами», не вдаваясь в «глубины жандармской бездны». Прототипом Сигова является жандармский полковник Стогов, фигура типичная для того времени. Известно, что после расправы с декабристами указом от 3 июля 1826 г. было учреждено III отделение «соб-

ственной его величества канцелярии», ведавшее делами «высшей полиции». Россия была разделена на семь жандармских округов, каждый из которых возглавлялся генералом и штаб-офицером, обязанным «вникать в направление умов» и следить как за отдельными лицами, так и за деятельностью правительственных учреждений.

Э. И. Стогов перешел из флота на жандармскую службу и скоро заслужил личную благодарность Николая I. В своих мемуарах он самодовольно сообщал об успехах по службе — о подавлении крестьянского бунта, который Стогов именуется «фарсом», когда по его приказанию было засечено розгами до смерти тринадцать человек, среди них семидесятилетний старик, о той роли, которую он сыграл в увольнении губернатора Загряжского («Очерки, рассказы и воспоминания Э—ва», «Русская старина», 1878, XII).

Рассказывая о том, как напугано было губернское общество арестами и ссылками людей, близких не только к декабристам, но даже к масонам, Гончаров приводит в черновой рукописи анекдот, в котором раскрывается отношение писателя к обязательной подписке о непринадлежности к тайным обществам: «Бесполезная и смешная мера! Горбунов уморительно рассказывает, как священник, исповедуя умирающую девяностолетнюю купчиху, между прочим спрашивает, «не принадлежит ли она к тайному обществу». Эта карикатура метко попадает в цель».

Воспоминания Гончарова, в которых изображена типическая картина провинциальной жизни 30-х годов, были встречены сочувственно. Рецензент либеральной «Русской мысли» указывал, что то же самое он наблюдал в 50-х годах и в среднерусской полосе: «То же сонное царство... дремлющее на барском пуховике, то же чиновничество... живущее «безгрешными дохода-

ми» и «благодарностями»; те же простота и прекрасно-душие на почве нравственного неурядиства... то же самое бессознательное негодяйство в 50-х годах, верное изображение которого дал нам Гончаров в воспоминаниях о 30-х годах. И над всем этим царит один-единственный страх перед жандармом, порожденный в 30-х годах, как передает Гончаров, 14 декабря 1825 г., в 50-х годах — делом Петрашевского в 1848... Жили все, во всей России именно так, как рассказывает Гончаров, и от его рассказов становится не менее жутко, чем от мрачных картин Щедрина» (1889, № 4, стр. 134). Рецензент либерального журнала неправоммерно ставит в один ряд воспоминания Гончарова, при всей их несомненной прогрессивности, с бичующей демократической сатирой Щедрина, разоблачительная острота которой несравненно значительнее.

Реакционная печать («Новое время» и «Journal de St. Pétersbourg») обходила молчанием критическое содержание воспоминаний, отмечая лишь «кристаллическую ясность стиля», «свежесть и силу крупного таланта».

# Содержание

Вступление . . . . .	0007
I . . . . .	0011
II . . . . .	0025
III . . . . .	0033
IV . . . . .	0046
V . . . . .	0060
VI . . . . .	0071
VII . . . . .	0088
VIII . . . . .	0096
IX . . . . .	0113
X . . . . .	0121
XI . . . . .	0131
XII . . . . .	0147
XIII . . . . .	0152
XIV . . . . .	0160
XV . . . . .	0175
XVI . . . . .	0188

**НА РОДИНЕ**

# Вступление

Поместив в журнале статью *из университетских воспоминаний* — я стал рыться в своей памяти и в домашних бумагах с целью, не найду ли что-нибудь в них возможное для печати. Я захватил бумаги с собой в Усть-Нарву, на дачу, чтобы на досуге посмотреть, нет ли в них еще каких-нибудь воспоминаний, заметок, например, о том, что было дальше, что я видел, что я наблюдал и переживал по выходе из университета.

Разбирая бумаги, с пером в руке, я кое-что отмечаю и заношу на бумагу. «Для чего?» — спрашивал я и еще спрашиваю теперь себя. Если бы я захотел похлестаковствовать, я бы сказал: «Допеваю, мол, на пустынном берегу свои лебединые песни». Но я ничего никогда не пел и не допеваю: насмешники, чего доброго, разжаловали бы меня из лебедя в какого-нибудь гуся; или спросили бы меня, может быть, не хочу ли я приумножить свое значение в литературе, внести что-нибудь новое, веское? — Это на старости-то лет: куда уж мне!

Причина, почему я вожу пером по бумаге, простая, прозаичная, а именно: от прогулок, морских ванн, от обедов, завтраков, от бездейственного сидения в тени, на веранде, у меня все-таки остается утром часа три, которых некуда девать.

Здесь, в Усть-Нарве, живут тихо, уединенно, безмятежно. Дачи окружены где маленькими, где большими садами, так что дачникам неизвестно, как живут соседи. Дачники, если хотят, могут встречаться друг с другом на музыке, которая собирает около себя публику, или на море во время купанья, или же на вечерних прогулках на морском берегу.

Я на музыку не хожу, в открытом море не купаюсь и встречаюсь с немногими знакомыми лишь вечером на берегу, когда буйный ветер не рвет шляпы с головы и не бьет песком в лицо. Таким образом, дачники друг с другом не сталкиваются на каждом шагу, как, например, около Риги и на других людных приморьях, и друг другу не мешают.

Вот в эти праздные три часа я завешиваюсь от солнца, в защиту больных глаз, и роюсь в бумагах, с пером в руках. День за днем,

мало-помалу, у меня накопилась порядочная кучка писанных листов.

Я задумываюсь, что я стану с ними делать? Бросить жалко, не показав никому. Спрашиваю себя: что это такое? и сам не знаю. Это не мемуары какие-нибудь, где обыкновенно описываются исторические лица, события и где требуется строгая фактическая правда: у меня в жизни и около меня никаких исторических событий и лиц не было. Это и не плод только моей фантазии, потому что тут есть и правда, и, пожалуй, если хотите, все правда. Фон этих заметок, лица, сцены большею частью типически верны с натурой, а иные взяты прямо с натуры. Кто-то верно заметил, что археолог по каким-нибудь уцелевшим от здания воротам, обломку колонны дорисовывает и самое здание, в стиле этих ворот или колонны. И у меня тоже, по одной какой-нибудь выдающейся черте в характере той или другой личности или события, фантазия старается угадывать и дорисовывает все остальное. Следовательно, напрасно было бы отыскивать в моих лицах и событиях то или другое происшествие, то или другое лицо, к чему читатели

бывают наклонны вообще и при этом редко попадают на правду. Всегда больше ошибаются.

Пробегая теперь эти мои мелкие провинциальные наброски старого времени, я могу выразиться так, что все описываемое в них не столько *было*, сколько *бывало*. Другими словами, я желал бы, чтобы в них искали не голую правды, а *правдоподобия*, и буду доволен, если таковое найдется. Меня кто-то уже в печати укорял в привычке обобщать мои лица: это, помнится, было замечено с некоторой иронией, а между тем выходит как будто комплимент. Ведь обобщение ведет к типичности, и обобщение у меня — не привычка, а натура...

При свидании я покажу друзьям эти листки, а они пусть решат, без всяких натяжек и без всякого, конечно, лицепрятия — годятся ли они на что-нибудь.

А теперь пока — «еще одно последнее сказанье»...[1] Скоро надо убираться с здешнего берега: по вечерам становится темно и свежо.

*Усть-Нарва.*

*11 августа 1887 г.*

Итак, кончен учебный курс: теперь остается, по пословице, пожинать «сладкие плоды горьких корней ученья». Я свободный гражданин мира, передо мной открыты все пути, и между ними первый путь — на родину, домой, к своим.

Я и начал с этого пути, который оказался не совсем легким и удобным. От Москвы до моей родины считается с лишком семьсот верст. На почтовых переменных лошадях, на перекладной тележке это стоило бы рублей полтора ассигнациями (полвека назад иначе не считали) и потребовало бы дней пять времени.

Заглянув в свой карман, я нашел, что этой суммы нехватает. Из присланных из дома денег много ушло на новое платье у «лучшего портного», белье и прочие вещи. Хотелось явиться в провинцию столичным франтом.

Ехать «на долгих», с каким-нибудь возвращающимся из Москвы на Волгу порожним ямщиком, значило бы вытерпеть одиннадцатидневную пытку. Я и терпел ее прежде, ко-

гда еще мальчиком ездил с братом на каникулы.

Современный путешественник не поверит: одиннадцать дней ухлопать на семьсот верст! Американская поговорка: «Time is money»[2] — до нас не доходила.

Железных и других быстрых сообщений, вроде *malleposte*,[3] не существовало — и я задумывался, как быть.

Мне сказали, что есть какой-то дилижанс до Казани, а оттуда-де рукой подать до моей родины.

Газетных и никаких печатных объявлений не было: я узнал от кого-то случайно об этом сообщении и поспешил по данному адресу в контору дилижанса, в дальнюю от меня улицу. Конторы никакой не оказалось. На большом пустом дворе стояло несколько простых, обитых рогожей кибиток и одна большая бричка на двух длинных дрогах вместо рессор.

— Где же дилижанс? — спросил я мужика, подмазывавшего колеса одной кибитки

— Какой дилижанс, куда? — спросил он, в свою очередь.

— В Казань.

— А вот этот самый! — указал он на большую бричку.

— Какой же это дилижанс: тут едва трое поместятся! — возражал я.

— По трое и ездят, а четвертый рядом с кучером... Спросите приказчика: вон он в окно смотрит! — прибавил он, указывая на маленький деревянный домик, вроде избы.

Я вошел в комнату.

— Я желал бы ехать в дилижансе в Казань, — сказал я приказчику.

— Можно, — лениво отвечал он, доставая с полки тетрадь

— А когда ходит дилижанс?

— Неизвестно: дня определить мы не можем.

— Как так: дилижансы ходят везде в назначенные дни!

— Нет, у нас когда наберется четверо проезжих, тогда и пуцаем. Одна барынька уже записалась: вот ежели вы запишетесь — так только двоих еще подождем или по малости хошь одного.

Я и голову опустил.

— Вы наведывайтесь: может быть, и скоро тронемся! — утешал он меня, — в эту пору, на лето, много народу едет из Москвы.

Так как мне время особенно дорого не было, то я и записался. На мое счастье, не прошло и трех дней, как нашелся третий попутчик, и мы тронулись, теснясь втроем в бричке: четвертого спутника не было. Багаж уложен был частью на дрогах, сзади, частью на верху брички.

И это четырехдневное путешествие было не без пытки. Погода стояла знойная, июльская. Лошади двигались ленивой рысью, отмахиваясь хвостами от оводов. Нас на первых же порах покрыла густая пыль, вздымаемая нашим «дилижансом» и другими встречными и обгонявшими нас бричками и телегами.

Нам троим сидеть было тесно. Я скромно жался в свой угол, опираясь на локоть. Другую руку, и отчасти ногу, я выставлял наружу, чтобы дать больше простора пассажирке. Она старалась завоевать себе побольше места, беспрестанно просила не упираться сапогами в стоявшую в ногах картонку с шляпкой. В головах, за подушками, у нее помещался ка-

кой-то коробок — кажется, с провизией.

Третий пассажир, купец, возвращавшийся из Москвы, не сдавался, сидел не боком, а прямо, и занимал один почти половину брички.

От этой тесноты мы в первый же день возненавидели друг друга, глядели в разные стороны и не говорили между собой.

— Подвиньтесь, вы мне на ногу «шили» (вместо «сели»)! — шепелявила барынька.

— Куда прикажете подвинуться? Рад бы выкинуть ноги на дорогу, да боюсь, подберет кто-нибудь, после не найдешь! — острил купец.

— Ох! — стонала она и от жара и от тесноты.

Я улыбался в сторону.

Барынька ехала на уральские заводы какой-то смотрительницей, чего — не знаю, и все охала о предстоящем ей еще впереди длинном пути. Она боялась разбойников и грозы, или «грожи», по ее выговору.

На ее беду, на третьи сутки вдруг по дороге понесся нам навстречу столб пыли, крутя и вертя все по пути; налетел и на нас. Стал брызгать дождь.

— «Шлава» богу, что «беж грожи»! — сказала барынька, крестясь. Но в ту же минуту блеснула молния, и вслед за нею раздался ужасный громовой удар.

— Ох! — простонала наша спутница, крестясь вторично.

Купец посмотрел на нее, что она, а я отвернулся и засмеялся в пространство. Но тем все и кончилось. Вихрь умчался, и солнце стало опять печь.

По лицам у нас струями лился пот, пыль липла к струям и изукрасила нас узорами. В первые же сутки мы превратились в каких-то отаитян. На второй день совсем почернели, а на третий и четвертый на щеках у нас проби- вался зеленоватый румянец.

Подъезжая к Казани, мы говорили уже не своими голосами и не без удовольствия рас- стались, сипло пожелав друг другу всякого благополучия.

Так полвека назад двигались мы по нашим дорогам! Только лет через двенадцать после того появились между Петербургом и Моск- вою первые мальпосты, перевозившие пасса- жиров с неслыханною дотоле быстротою: в

двое с половиной суток. В 1849 году я катился из Петербурга уже этим великолепным способом. А затем, возвращаясь в 1855 году через Сибирь из кругосветного плавания, я ехал из Москвы по Николаевской железной дороге: каков прогресс!

В Казани я пробыл день, осмотрел крепостные стены, Сумбекину башню, зашел на университетский двор, к памятнику Державина, потом посетил несколько мечетей, походил по горбатым улицам города, по Арскому полю и на другой день, на почтовых, налегке, на перекладной тележке, покатыл на родину. Тут всего сутки езды. Но покатыл с препятствиями. Дорожные испытания еще не кончились. Меня все преследовал зной, этот бич путешественников, не только в открытой тележке, но, как я изведаль потом, и в вагонах, и на корабле. Сколько раз он буквально допекал меня в жизни, но никогда так назойливо и злобно, как на этом стовосьмидесятиверстном расстоянии! Солнцу угодно было зажарить меня, и оно жарило; особенно это чувствовалось после ванны, взятой в Казани.

В полдень не стало мочи терпеть: куда бы

нибудь да укрыться! Наконец приехали в какой-то городишко — если не ошибаюсь, в Бунинск, где надо было менять лошадей. Ямщик подвез меня прямо к станционной избушке, без двора, без сеней, которую со всех сторон пожирали солнечные лучи.

— Поставь меня с телегой куда-нибудь в тень! — просил я ямщика, — тут сторишь!

Он ввез меня под навес постоянного двора напротив станции. Я чуть не обнял благодетеля. Так отраден мне был навес двора, даже с запахом навоза.

Я сидел еще в тележке, одурелый от жара, томимый не столько голодом, сколько жаждой. Не прошло и десяти минут, как на двор вбежал впопыхах маленький человечек в военной или полицейской форменной фуражке и сюртуке.

— Козлов! Козлов! Где ты, подлец? — кричал он сердито на весь двор. Из дома, по деревянной, крытой лестнице на этот голос проворно сбежал мужик в красной рубашке, с большим ключом на поясе.

— Здесь, ваше высокоблагородие, здесь! — торопливо отозвался он.

— К тебе въехал приезжий, — с гневом продолжал офицер, — а ты и ухом не ведешь, не даешь знать в полицию! а? Ты знаешь, как строго приказано?

— Да они на почтовых едут: ко мне только сейчас под навес стали...

— Врешь, врешь, подлец! ямщик сказывал, что проезжий обедать здесь будет! Первым твоим делом, подлец, потребовать от проезжего вид и представить в полицию.

Он стал грозить пальцем. Я сошел с телеги, вынул из кармана свой университетский отпусковой билет и подал сердитому господину.

— Вот мой билет! — сказал я ему. — Я только что въехал и через час еду дальше.

Старик надел очки, взглянул пристально на меня, потом на билет.

— А куда изволите ехать?

Я сказал ему.

— Извольте получить ваш вид: он в порядке.

— Не вините его, — заступился я за хозяина, — он даже не видал меня и моей тележки.

— Нет, нет, он подлец! Он должен смотреть в оба: мало ли кто к нему заедет! Полиция обо

всех должна знать!

Тем бы, кажется, все и должно кончиться. Но городничий — это был сам городничий, как я узнал после от хозяина — прибавил к нашему разговору такое необыкновенное заключение, что читатель, пожалуй, не поверит, подумает, что я сочинил этот шарж.

— Может быть, вы зарезали ваших родителей и бежали! — выпалил он.

Я остолбенел от этой гиперболы и не нашелся, что ему сказать. Едучи дальше, я объяснил ее себе догадкой, что, вероятно, в служебной практике городничего был подобный случай, потому что выдумать этого нельзя даже и в шутку.

К вечеру на пути ожидал меня другой сюрприз. Зной уступил место духоте, небо заволкло черными тучами, покрывшими тьмою поля, леса, дорогу. В восемь часов началась гроза, или «грожа», по выговору барыньки, но такая жестокая, классическая гроза, какую я после видал в тропических широтах.

Тьма уступила место нестерпимому и непрестанному, без промежутков, блеску молнии, с перекатами непрерывного же гро-

ма. Мы ехали между двух стен сплошного леса. Узкая полоса дороги от ливня часа через два образовала корыто мягкого теста из чернозема. Лошади вязли по колено и едва вытаскивали ноги. Рысь сменилась шагом, который становился все медленнее. От блеска лошади вздрагивали и останавливались как одурелые.

У ямщика оказались две рогожи: в одну он завернулся, как барыня в шаль, а другую дал мне. Я прикрыл ею не себя, а чемодан, чтобы дождь не промочил мои московские обновки. А сам отдал на жертву дождю свою «непромокаемую», но промокавшую камлотовую шинель и университетский поношенный сюртук, с малиновым воротником, теперь мне уже ненужный.

Мы еще с час или полтора шлепали по дороге, ожидая, что гроза стихнет. Но лошади останавливались все чаще и чаще, а гроза не только не унималась, а еще будто разыгрывалась сильнее.

— Барин! Надо заехать переждать, — предложил ямщик, — кони, того гляди, станут совсем ничего с ними не поделаешь: во как бо-

ятся!

— Куда же заехать?

— А вот туточка, сичас у дороги, татарская деревушка будет: туда и заедем. Переждем малость! Который час таперича?

— Полночь! — сказал я, — ну, заезжай! Да как ты проедешь? тут все широкая канава вдоль дороги идет.

— Там есть мостик, соломенный он: кабы в темень, так, пожалуй, провалишься в канаву — он хворостом крыт, да сверху соломки накидано: только слава, что мост! А теперича, молонье-то вон какое (ух! как «жгет»!): светло, переберемся как-нибудь.

Мы так и сделали, перебрались. Ямщик чуть не в самые окна одной избушки всадилоглобли. Он стал стучать кнутом в окна и в ворота. Долго никто не отзывался, хотя при блеске молнии мы видели в окнах людей. «Отоприте, отворите!» — кричали мы, как Ваня в «Жизни за царя».

После некоторых переговоров о том, кто мы и что нам нужно, нас впустили в избу, внесли туда же мой чемодан, подушку, саквож, а телегу и лошадей укрыли под навес. В

избе оказалось человек пять рослых татар.

— Отчего так долго не пускали? — спросил я

— Боялись! — говорят,

— Чего?

— А не знаем, бачка, какие люди стучат. Вчера ночью воры пришли, стучали, много стучали: мы не пустили и сами спрятались.

— Вас тут пятеро — и боялись! Почему вы знали, что вчера воры были?

— Мы их знаем, бачка: знакомые!

Когда зажгли огонь, я хотел лечь на лавку, но сейчас же увидел, что это невозможно. Лавки, стол и отчасти стены — все будто шевелилось от сплошной массы тараканов. На лавку даже нельзя было сесть — она была точно живая.

Да и напрасна была затея уснуть. Вся избушка тряслась от раскатов грома. Наружи дождь шумел, как водопад. Оттого и татары все были на ногах, не спали. Увидя у них большой самовар, я велел поставить, достал дорожный запас и стал пить чай. Так прошло время до рассвета. Около пяти часов утра мы пустились в путь — гроза еще не кончилась

совсем. Туча удалялась вперед от нас, а сзади великолепно блистало солнце. Впереди видно было, как молния теперь, при солнце, уже без блеска, падала белыми зигзагами на нивы, до нас доходили слабые удары грома. Другую такую грозу, повторяю, продолжительную и жестокую, я, помню, видел только в Японии, когда мы с фрегатом стояли на Нагасакском рейде.

Не знаю, что стало бы с моей спутницей-барынькой в такую «грожу».

После грозы, казалось бы, воздух должен освежиться, но, против обыкновения, он точно накалился — и остальную сотню верст я добирался почти без сознания, точно спал, приехал домой в виде каленого ореха и только дня через два принял свой обыкновенный вид.

Меня охватило, как паром, домашнее бабловство. Многие из читателей, конечно, испытывали сладость возвращения, после долгой разлуки, к родным и поймут, что я на первых порах весь отдался сладкой неге ухода, внимательности. Домашние не дают пожелать чего-нибудь: все давно готово, предусмотрено. Кроме семьи, старые слуги, с нянькой во главе, смотрят в глаза, припоминают мои вкусы, привычки, где стоял мой письменный стол, на каком кресле я всегда сидел, как постлать мне постель. Повар припоминает мои любимые блюда — и все не наглядятся на меня.

Дом у нас был, что называется, полная чаша, как, впрочем, было почти у всех семейных людей в провинции, не имевших поблизости деревни. Большой двор, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлевами, сараями, амбарами, птичником и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры, утки — все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполне-

ны были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, деревня.

Кроме нашей семьи, то есть моей матери, сестер и брата, оставшегося в Москве в университете, по болезни, еще на год, у нас в доме проживал один отставной моряк. Назову его Якубов. Выйдя в отставку, он приехал в свою деревню, или деревни; у него их было две, с тремястами душ крестьян в обеих, верстах в полутораста от города. Но одинокому холостяку вскоре наскучило там: сельского хозяйства он не понимал и не любил, и он переселился в губернский город.

Губернские города, подальше от столицы, были, до железных дорог, оживленными центрами общественной жизни. Помещики с семьями, по дальнему расстоянию от Москвы, проводили зиму в своем губернском городе. Наша губерния особенно славилась отборным обществом родовитых и богатых дворян.

Якубов случайно заметил красивый, светлый и уютный деревянный флигель при нашем довольно большом каменном доме, вы-

ходившем на три улицы, — и нанял его, не предвидя, что проживет в нем почти полвека и там умрет.

Якубов был крестным отцом нас, четверых детей. По смерти нашего отца он более и более привыкал к нашей семье, потом принял участие в нашем воспитании. Это занимало его, наполняло его жизнь. Добрый моряк окружил себя нами, принял нас под свое крыло, а мы привязались к нему детскими сердцами, забыли о настоящем отце. Он был лучшим советником нашей матери и руководителем нашего воспитания.

Якубов был вполне просвещенный человек. Образование его не ограничивалось техническими познаниями в морском деле, приобретенными в морском корпусе. Он дополнял его непрерывным чтением — по всем частям знания, не жалел денег на выписку из столиц журналов, книг, брошюр. Как, бывало, прочитает в газете объявление о книге, которая, по заглавию, покажется ему интересною, сейчас посылает требование в столицу. Романов и вообще беллетристики он не читал и знал всех тогдашних крупных представите-

лей литературы больше понаслышке. Выписывал он книги исторического, политического содержания и газеты.

По смерти нашего отца, состаревшись, он из флигеля перешел в большой каменный дом и занял половину его.

Якубов стал совершенным семьянином у нас, сделался хотя и *faux père de famille*, [4] но своею привязанностью к нам, умными советами, заботливым руководством нашего воспитания и образования превосходил и родного отца.

Это нередко бывает. Добровольно взятое на себя иго — уже не иго: оно легче и охотнее переносится, особенно когда подкладкой ему служит симпатия. Мы всегда охотно даем то, чего от нас не требуют и чего мы не обязаны давать. В этом и весь секрет.

Мать наша, благодарная ему за трудную часть взятых на себя забот о нашем воспитании, взяла на себя все заботы о его житье-бытье, о хозяйстве. Его дворня, повара, кучера слились с нашей дворней, под ее управлением — и мы жили одним общим домом. Вся материальная часть пала на долю матери, от-

личной, опытной, строгой хозяйки. Интеллектуальные заботы достались ему.

Я останавливаюсь на этом старике, потому что он заслуживает внимания не только как представитель старого времени вообще, но и как человек в особенности.

Мать любила нас не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается в горячих ласках, в слабом потворстве и угодливости детским капризам и которая портит детей. Она умно любила, следя неослабно за каждым нашим шагом, и с строгою справедливостью распределяла поровну свою симпатию между всеми нами четырьмя детьми. Она была взыскательна и не пропускала без наказания или замечания ни одной шалости, особенно если в шалости крылось зерно будущего порока. Она была неумолима.

Зато Петр Андреевич Якубов, заступивший нам место отца, был отец-баловник. Это имело ту хорошую сторону, что смягчало строгую систему материнского над нами контроля. Баловство — не до глупой слабости, не до излишества — также необходимо в детском воспитании. Оно порождает в детских сердцах бла-

годарность и другие добрые, нежные чувства. Это своего рода практика в сфере любви, добра. Сердце, как и ум, требует развития.

Бывало, нашалишь что-нибудь: влезешь на крышу, на дерево, увяжешься за уличными мальчишками в соседний сад или с братом заберешься на колокольню — она узнает и пошлет человека привести шалуна к себе. Вот тут-то и спасаешься в благотельный флигель, к «крестному». Он уж знает, в чем дело. Является человек или горничная, с зовом: «Пожалуйте к маменьке!» — «Пошел» или «пошла вон!» — лаконически командует моряк. Гнев матери между тем утихает — и дело ограничивается выговором вместо дранья ушей и стояния на коленях, что было в наше время весьма распространенным средством смирять и обращать шалунов на путь правый.

У Якубова был отличный повар и, кроме того, особый кондитер. Иногда он оставлял нас обедать, и тут уж всякому кормлению и баловству не было конца. Был у него, между прочим, особый шкафчик, полный сластей — собственно для нас.

Со мной он, ежедневно катаясь по городу для воздуха, заезжал в разные лавки и закупал также сладостей, игрушек и всяких пустяков, нужды нет, что дома всего этого было вдоволь и давалось нам регулярно. Мать обыкновенно отбирала все эти гостинцы, если мы не успевали потребить их, и воевала с баловником.

Если он сам не купит, то даст мелких денег, чтобы мы распорядились, как хотим. И это отбиралось от нас, а если мать не замечала, мы покупали всякой дряни: бобов, стручков, моченой груши и тому подобных строго запрещенных нам уличных лакомств и втихомолку съедали. Выдаваемые ежедневно по порциям сласти нас не удовлетворяли: слаще всякого варенья казался излишек, да еще запретный.

Курьезно, что когда я приехал по окончании университетского курса, он не успел поздороваться, велел заложить «тарантас» (вроде длинной линейки с подножкой), как всегда делал, когда я приезжал на каникулы мальчиком, и повез было попрежнему в кондитерские и другие лавки со сладостями. Я засмеялся,

и он тоже, когда я спросил, где продается лучший табак.

Из всех нас четверых я был самым близким спутником и собеседником моряка. Брат, старше меня года на три, был бойким, донельзя шаловливым гимназистом и эмансипировался от домашнего режима.

**П**етр Андреич, или «крестный», как мы и все в доме звали Якубова, учился в Петербурге, в морском кадетском корпусе и в царствование Екатерины выпущен во флот, в морскую артиллерию. «Нам велели представиться Потемкину, — рассказывал он мне, — мы все безусые, безбородые, восемнадцатилетние или девятнадцатилетние мальчики, в новеньких офицерских мундирах, явились к нему во дворец. В зале много ждало важных лиц: их звали по очереди к нему. Наконец дошло до нас. Нас ввели в кабинет и вытянули в шеренгу у дверей. Потемкин лежал на диване: около него сидели на креслах и стояли несколько лиц. Он посмотрел на нас пристально и обратился к присутствующим: «Каковы! — сказал он гнусливо, кивая на нас, — вот с какими поросятами я должен служить!» Он усмехнулся, и другие тоже, потом махнул нам рукой, чтобы шли вон».

Якубов участвовал в кампании против французов. Суворов пожинал лавры на суше, переходил Альпы,[5] а флот наш блокировал

Италию с моря.

Теперь не помню, долго ли служил Якубов во флоте и когда он вышел в отставку. Знаю только, что он приехал на Волгу, в свое имение, в чине капитан-лейтенанта, с владимирским крестом — и, поселившись в губернском городе, спустя некоторое время вступил в гражданскую службу советником, кажется, губернского правления. Я стал знать, помнить и любить его с семилетнего возраста, а это было в двадцатых годах нынешнего столетия. Он уже был в чистой отставке.

Когда Якубов явился в провинцию, он был еще не старым человеком. Он сблизился с тогдашним дворянским кругом и решительно завоевал себе общую симпатию и уважение. Это был чистый самородок честности, чести, благородства и той прямоты души, которою славятся моряки, и притом с добрым, теплым сердцем. Все это хорошо выражается английским словом «джентльмен», которого тогда еще не было в русском словаре. В обращении он был необыкновенно приветлив, а с дамами до чопорности вежлив и любезен.

Он был везде принят с распростертыми

объятиями, его ласкали, не давали быть одному. И у себя он давал часто обеды, ужины, на которых нередко присутствовали и дамы. Я помню, хотя был еще маленький, как у него было шумно, весело, как из флигеля разносились по двору громкие голоса, как прыгали пробки в потолок. Когда забежишь во флигель, — а забежишь всегда, когда были гости, — последние наперерыв ласкают, накормят пирожным, мороженым, дадут шампанского, словом, избалуют донельзя.

Так продолжалось, должно быть, лет десять, то есть такое светское, широкое и гостеприимное житье-бытье. У него даже был свой роман. Он влюбился в одну молодую, красивую собой графиню. Об этом он мне рассказал уже после, когда я пришел в возраст, но не сказал: разделяла ли она его склонность. Он говорил только, что у него явился соперник, некто богатый, молодой помещик Ростин. Якубов стушевался, уступил.

— Отчего же вы не искали ее руки? — спросил я, недовольный такой прозаичной развязкой.

— Оттого, мой друг, что он мог устроить ее

судьбу лучше, нежели я. У меня каких-нибудь триста душонок, а у него две тысячи. Так и вышло. Я сам желал этого. Оба они счастливы, и слава богу! — Он подавлял легкий вздох.

И действительно так было. Я знал эту графиню, бывал у Ростина, жившего гостеприимно и открыто, в его недалекой от города деревне. В то время, когда он мне это рассказывал, графиня была уже пожилая женщина, но все еще со следами красоты, мать взрослых детей. Якубов говорил с ней и о ней не иначе, как с нежною почтительностью — и был искренним другом ее мужа и всей семьи.

Потом я не знаю, как он жил до своей старости. С 1822 года меня отвезли учиться в Москву. Летом на короткое время я приезжал, и потом из университета на каникулы домой и находил все того же ласкового, безмерно доброго отца и друга. Он постепенно старел, а мы с братом являлись домой уже юношами. Ласки, баловство, подарки — так и лились на нас до смешного. Живи он до сих пор, я думаю, он и теперь повез бы меня в кондитерскую покупать конфеты.

Но по мере того как он старел, а я прихо-

дил в возраст, между мной и им установилась — с его стороны передача, а с моей — живая восприимчивость его серьезных технических познаний в чистой и прикладной математике. Особенно ясны и неocenенны были для меня его беседы о математической и физической географии, астрономии, вообще космогонии, потом навигации. Он познакомил меня с картой звездного неба, наглядно объяснял движение планет, вращение земли, все то, чего не умели или не хотели сделать мои школьные наставники. Я увидел ясно, что они были дети перед ним в этих технических, преподанных мне им уроках. У него были некоторые морские инструменты, телескоп, секстант, хронометр. Между книгами у него оказались путешествия всех кругосветных плавателей, с Кука до последних времен.

Я жадно поглощал его рассказы и зачитывался путешествиями. «Ах, если бы ты сделал хоть четыре морские кампании (морскою кампаниею считаются каждые полгода, проведенные в море), то-то бы порадовал меня!» — говаривал он часто в заключение наших бесед. Я задумывался в ответ на это: меня

тогда уже тянуло к морю или по крайней мере к воде. Если бы он предвидел, что со временем я сделаю пять кампаний — да еще кругом света!

Поддаваясь мистицизму, можно, пожалуй, подумать, что не один случай только дал мне такого наставника — для будущего моего дальнего странствия. Впрочем, помимо этого, меня нередко манили куда-то вдаль широкие разливы Волги, со множеством плавающих, как лебеди, белых парусов. Я целые часы мечтательно, еще ребенком, вглядывался в эту широкую пелену вод.

И по приезде в Петербург во мне уживалась страсть к воде. Рассказы ли «крестного», вместе с прочитанными путешествиями, или широкое раздолье волжских вод, не знаю что, но только страстишка к морю жила у меня в душе. Гуляя по Васильевскому острову, я с наслаждением заглядывался на иностранные суда и нюхал запах смолы и пеньковых канатов. Я прежде всего поспешил, по приезде в Петербург, посетить Кронштадт и осмотреть там море и все морское.

Якубов происходил от старой дворянской

фамилии, но он был аристократ, барин — больше в душе. Старые дворянские роды он ставил высоко, к другим сословиям относился только снисходительно.

— Здравствуй, старина! — говорил он попросту, в ответ на почтительный поклон какого-нибудь купца, или: — здравствуйте, отец! — приветствовал он священника. Напротив, с людьми своего круга он при встрече на улице здоровался, с близко знакомыми фамильярно, дружески, перекидывался несколькими словами, шуткой, перед менее знакомыми вежливо приподнимал фуражку, а перед дамами обнажал всю голову.

Приезжая после, в мои университетские каникулы, я стал замечать, что посетители у него становились редки, а сам он не выезжал никуда, совершая только свои ежедневные прогулки в экипаже, «для воздуха», непременно со мной.

Я видел, что он и на прогулках стал избегать встреч, даже с близкими его знакомыми. От прочих он скрывался, сколько мог. На мой вопрос:

— Отчего это? — он сказал просто: «на ста-

рости лет отвык от людей, да и пострелов тут немало!» Между тем при встрече на улице или если кто успеет проникнуть к нему в дом, он обойдется любезно и радушно.

Иногда выходили по этому поводу забавные сцены. Приедет, например, гость, спросит: «Дома ли?» — Человек побежит в обход по коридору доложить. «Владимир Васильевич», — скажет он, или: «граф Сергей Петрович». Якубов, вместо ответа, энергически молча показывает человеку два кулака. Человек скроется в коридор и ждет в нерешительности, не зная, что делать. В передней гость ждет ответа, а в кабинете барские кулаки, которые, впрочем, он в ход никогда не пускал. Гость, между тем, наскучив ждать, сбросит с себя шинель или шубу (пальто тогда не было известно) и идет в залу, потом в гостиную и, наконец, отворяет дверь в кабинет.

— А! Граф Сергей Петрович, милости прошу! — радушно приветствует его моряк, — садитесь, вот здесь! Эй, малый! — крикнет человеку, — скажи, чтоб нам дали закуску сюда да позавтракать что-нибудь.

В провинции, по крайней мере в то время,

посетителям непременно предлагалось угощение: утром закуска, вино; после обеда — сласти.

Слуге потом не было ни выговора, ни замечания. Гнев Якубова бывал всегда мгновенной, быстро потухавшей вспышкой.

Катаясь тоже со мной по городу, он издали иногда завидит едущего в экипаже или идущего навстречу знакомого.

— Не гляди туда, отвернись! — шопотом предупредит меня и сам с юношеским проворством перекинется через сиденье на другую сторону линейки.

Между близкими его знакомыми я помню особенно двух стариков, его сверстников, живших почти безвыездно по своим деревням. Один был Федор Петрович Козырев, а другой — Андрей Герасимович Гастурин. Они приезжали в губернский город в три года раз на дворянские выборы, но совсем не затем, чтобы их выбирали, а, напротив, чтоб не выбирали.

— Когда мы хотим повидаться с ними, — сказывал мне предводитель дворянства, Бравин, — стоит только написать им, что их на-

мерены баллотировать: сейчас же оба бросят свои захолустья и приедут просить, чтоб не выбирали.

Я знал и любил этих обоих сверстников моего «крестного». Это были такие же добрые, ласковые баловники-старички. К первому из них я, проезжая домой на каникулы, уже студентом, сворачивал верст пятнадцать в сторону с большой дороги и проводил у него по два и по три дня. У него была прелестная усадьба, то есть собственно господский дом, окруженный обширным садом, во вкусе времен Людовика XIV, с стриженными аллеями, каскадами, беседками, нимфами и другими затеями, конечно в миниатюре, впрочем, значительно запущенный и заброшенный. Более всего занимала меня большая библиотека — все французских книг. Козырев был поклонник Вольтера и всей школы энциклопедистов[6] и сам смотрел маленьким Вольтером, острым, саркастическим, — как многие тогда поклонники Вольтера. Дух скептицизма, отрицания светился в его насмешливых взглядах, улыбке и сверкал в речах. Беседой нашей с ним и братом служили французские писатели. Но

он был так деликатен и осторожен с нами, юношами, что давал нам читать и сам читал с нами произведения французской поэзии, декламируя Расина, Корнеля и «Генриаду» Вольтера. О смысле и значении учения мыслителей-энциклопедистов он умалчивал. «Баснями соловья не кормят!» — заканчивал он наши беседы и велел подавать всегда тонкий, изящный обед. У него был отличный повар, кажется, француз.

Он не выходил из халата и очень редко выезжал из пределов своего имения. У него была в нескольких верстах другая деревня, но он и в ту не всякий год заглядывал. Помню я теперь его слегка рябоватое лицо, темносерые умные глаза, насмешливо-добродушную улыбку и светлый шелковый с полосками халат. Он так сидел в своем изящном кабинете, так гулял и в укатанных аллеях своего сада, около пруда, где плавали лебеди, а по цветникам, и по его комнатам тоже, расхаживали журавли и павлины.

Кроме этого сада да своей библиотеки, он ничего знать не хотел, ни полей и лесов, ни границ имения, ни доходов, ни расходов. Ко-

гда он ездил в другую свою деревню, — рассказывали мне его же люди, — он спрашивал: «Чьи это лошади?», на которых ехал.

Точно так же не знал и не хотел знать ничего этого и «крестный» мой и третий близкий их друг и сверстник, А. Г. Гастурин. Этот был простой, неученый, но добрый, всеми любимый деревенский житель, не выпускавший изо рта большой пенковой трубки. Он весь почернел и как будто прогорел от солнца и от табаку. Когда я спрашивал Якубова о его хозяйстве, о посевах, умолоте, количестве хлеба — даже о количестве принадлежащей ему земли и о доходах: «А не знаю, друг мой, — говаривал он, зевая, — что привезет денег мой кривой староста, то и есть. А сколько он высылает кур, уток, индеек, разного хлеба и других продуктов с моих полей — спроси у своей маменьки: я велел ему отдавать ей отчет, она знает лучше меня!»

Когда оба старика приезжали в город на выборы, они обыкновенно жили у Якубова, и нам всем, детям, было от них тройное баловство.

С утра, бывало, они все трое лежат в постеле

лях, куда им подавали чай или кофе. В полдень они завтракали. После завтрака опять забирались в постели. Так их заставляли и гости. Редко только, в дни выборов, они натягивали на себя допотопные фраки или екатерининских времен мундиры и панталоны, спрятанные в высокие сапоги с кисточками, надевали парики, чтоб ехать в дворянское собрание на выборы. Какие смешные были все трое! Они хохотали, оглядывая друг друга, а мы, дети, глядя на них.

Мне кажется, у меня, очень зоркого и впечатлительного мальчика, уже тогда, при виде всех этих фигур, этого беззаботного житья-бытья, безделья и лежанья, и зародилось неясное представление об «обломовщине».

## IV

**И** по приезде домой, по окончании университетского курса, меня обдало той же «обломовщиной», какую я наблюдал в детстве. Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кроме картины сна и застоя. Те же, большею частью деревянные, посеревшие от времени дома и домишки, с мезонинами, с садиками, иногда с колоннами, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, бесконечные заборы; те же деревянные тротуары, с недостающими досками, та же пустота и безмолвие на улицах, покрытых густыми узорами пыли. Вся улица слышит, когда за версту едет телега или стучит сапогами по мосткам прохожий.

Так и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонные окна с опущенными шторами и жалюзи, на сонные физиономии сидящих по домам или попадающие на улице лица. «Нам нечего делать! — зевая, думает, кажется, всякое из этих лиц, глядя лениво на вас, — мы не торопимся, живем — хлеб жуем да небо коптим!»

И вправду, должно быть, так. Чиновник, советник какой-нибудь палаты, лениво, около двух часов, едет из присутствия домой, нужды нет, что от палаты до дома не было и двух шагов. Пройдет писарь, или гарнизонный солдат еле-еле бредет по мосткам. Купцы, забившись в глубину прохладной лавки, дремлют или играют в шашки. Мальчишки среди улицы располагаются играть в бабки. У забора коза щиплет траву.

— Ужели ничего и никого нового нет? — спрашиваю «крестного», объезжая город и ленивым оком осматриваясь кругом, — я все это знаю, давно видел: вон, кажется, и коза знакомая!

— Как нет нового! Вот сейчас подъедем к новому собору: он уж освящен. Каков! — хвастался он, когда мы сошли с дрожжек и обходили собор. Собор в самом деле очень хорош: обширен, стройных размеров и с тонкими украшениями на фронтоне и капителях колонн.

— Вот и это новое: ты еще не видал, при тебе не было! — говорил Якубов, указывая на новое здание на Большой улице.

Я прочел на черной доске надпись: «Пи-

тейная контора».

— Это откупщик выстроил, — прибавил он.

Встретился нам очень старый священник, посмотрел на нас, прикрыв глаза руками от солнца, узнал Якубова и отвесил низкий поклон.

— Здравствуй, батька, здорово! крестить, что ли, ходил или отпевать кого-нибудь? — шутил крестный.

— Чего? — отозвался, останавливаясь, тот, — не слышу!

Мы проехали.

— Когда я приехал сюда, этот батька был уже зрелых лет попик: теперь ему под восемьдесят! — добавил мне крестный.

— Это все старое и ветхое, что вы мне показываете, кроме собора да питейной конторы, — сказал я. — Где же новое, молодое, свежее?

— Свежее? есть свежие стерляди, икра, осетрина, дичь... Всего этого — здесь вволю; ужо маменька твоя покормит тебя, — шутил он.

— А новые люди, нравы, дух? — допраши-

вал я.

— Люди?.. Да теперь лето: никого в городе нет, все по деревням. Вот, погоди, к осени съедутся, увидишь и людей, познакомишься со всеми. А теперь тебе надо «представиться» губернатору.

Я встрепенулся.

— Зачем? Если б я приехал сюда на службу, — другое дело, а я к осени думаю ехать в Петербург.

— А все-таки надо представиться ему, — настаивал Якубов, — он заметит тебя где-нибудь, спросит — кто, а ты у него не был: это никуда не годится. И к архиерею тоже, и к председателям палат, да еще к такому-то и к такому-то.

Он насчитал домов десять, где я будто бы должен побывать — не знаю сам, да и он не знал — для чего. «Для приличия, — говорил он, — молодой человек везде должен являться». Тоже не объяснил — зачем. Я не разделял этого принципа старого века — соваться везде, где и не нужно; нравы уже менялись, но спорить с ним не желал, решив про себя, что у губернатора я запишусь, сказал бы: «остав-

лю карточку», если б она у меня была, но ее не было — я только что вступал в свет, — а к прочим загляну при удобном случае.

Так и сделал. К осени, однакоже, надо было подчиниться губернскому режиму и делать визиты, нужные и ненужные, то есть к знакомым и незнакомым. Это соблюдается, как я увидел после, строже в провинции, нежели в столицах, и не побывать у иного в известный день — наживешь себе недруга. Вот чем и каким делом разбавлялось, между прочим, провинциальное безделье!

Якубов объяснил, как я сказал выше, причину своего отчуждения от людей, кроме старости, между прочим, еще тем, что он «отвык» от них: это не совсем удовлетворило меня. Вглядываясь и вдумываясь тогда в его образ мыслей и жизнь сознательно, я видел кое-что в его характере, к чему прежде у меня не было ключа, что-то постороннее, кроме старческой усталости: не то боязнь, не то осторожность. Он не скучал и не тяготился, когда к нему заглядывал, например, вышеупомянутый Ростин, потом один сосед по деревне и большой его приятель, затем веселый себе-

седник и юморист Бравин, еще Чурин, наконец братья жены Ростина, бывшего его «предмета», З—ие, князь П. Он благоволил также и к губернатору и к жене его, «прекрасной дамочке», по его выражению, хотя эта дамочка была увядшая, худощавая, с впалыми, потухшими глазами и вовсе не прекрасная собой женщина.

Но любя всех этих лиц, он не искал встреч с ними, точно остерегался общества, пятился от знакомых, а незнакомых вовсе не принимал.

Главною причиной была, конечно, старческая усталость, «отвычка» от людей, как он говорил, но тут наполовину было и действительно боязни. Он, как и многие тогда, был запуган тем переполохом, который произвело 14 декабря во всем русском обществе. Хвост от этого переполоха еще тянулся не только по провинциям, но и в столицах. Я помню, что с нас, студентов, при вступлении в университет отбиралась подписка «в непринадлежности к тайным обществам». Эта мудрая мера производила одно действие: тем, кто из молодежи и во сне не видали никаких тайных об-

ществ, этим давалось о них понятие — и только. Принадлежавшим же к этим обществам — если были такие — она, я полагаю, преградою не служила.

Под тайными обществами, между прочим, разумелись масонские ложи.[7] Якубов, как почти все дворяне тогда, или, лучше сказать, вся русская интеллигенция, принадлежал тоже к масонской ложе. В Петербурге все лучшие, известные, высокопоставленные лица были членами масонских лож; между прочим, говорили, что и император Александр Павлович тоже был член.

В нашем губернском городе была своя отдельная масонская ложа, во главе которой стоял Бравин. Члены этой ложи разыгрывали масонскую комедию, собирались в потаенную, обитую черным сукном комнату, одевались в какие-то особые костюмы, с эмблемами масонства, длинными белыми перчатками, серебряными лопатками, орудием «каменщиков», и прочими атрибутами масонства.

Не все члены, однако, были посвящены в таинственную суть масонства. Общая, всем

известная цель была — защита слабых, бедных, угнетенных, покровительство нуждающимся и т. п. дела благотворительности. Многие из членов занимали низшие должности в иерархии ордена, например что-то вроде каких-то звонарей и т. п., и повышались в степенях, после разных испытаний, смотря по способностям и значению.

Все это я узнал после, частью от самого Якубова, а более от других, менее скромных и пугливых бывших членов. «Крестный» открыл мне весьма немногое, случайно. Однажды зимой, часу в десятом вечера, губернатор прислал за мной просить к себе потанцевать — к его дочери нечаянно собрались девицы, молодые люди — чтоб я приехал. У меня не оказалось свежих белых перчаток, магазины были уже заперты. Я принялся было тереть белым хлебом надетую пару, как явился «крестный». Узнав, в чем дело, он повел меня к себе. Из заднего секретного ящика комода он достал пару длинных белых перчаток и отдал мне.

— Да это женские, длинные, по локоть, — сказал я, — они не годятся!

— Годятся, вели только обрезать лишнее, — заметил он.

— Да откуда они у вас?

— Это масонские, — давно у меня лежат: молчи, ни слова никому! — шептал он, хотя около нас никого не было.

Переполох по поводу масонства повел после 14-го декабря к обыскам у всех принадлежавших к этому братству. Забирали бумаги, отсылали в Петербург, а председателя ложи, Бравина, самого отвезли туда, забрав всю его переписку. Но важнейшая часть его бумаг, за несколько часов до обыска, говорят, была брошена в пруд в его саду. Об обыске предупредил его полицмейстер, его приятель, и тем спас Бравина, может быть, от тяжелых последствий. Бравин был в переписке с иностранными масонами и, вероятно, был не чужд не одних только всем открытым, благотворительных, но и политических целей, какие входили в секретный круг деятельности, как видно, иностранных и русских масонских лож.

14-ое декабря открыло правительству глаза на эти последние цели и вызвало извест-

ное систематическое преследование масонства, а с ним — всяких «тайных обществ», которые подозревались, но которых, кроме заговора декабристов, кажется, тогда не существовало.

Все, кого призывали и допрашивали, так перетрусили, что после долго боялись говорить об этом, даже между собой, шепотом.

— Что же вы делали, когда собирались в своей тайной масонской зале: дела какие-нибудь? — допрашивал я «крестного».

— Да, были дела, читали письма, протоколы... мало было дел... — нехотя отвечал он.

— Что же еще? — приставал я.

— Какой ты любопытный! Еще... пили шампанское — вот что! чуть не ведрами, так что многих к утру развозили по домам.

Больше я ничего от него не узнал. На вопрос о Бравине и его пребывании в Петербурге он лаконически сказал, что Бравина продержали там около полугода, потом отпустили. «Воротился весь синий, даже почернел: его, слышно, подвергли там секретно телесному наказанию...» — дошептал он и положил на губы палец молчания.

Все напуганные масоны и не масоны, тогдашние либералы, вследствие крутых мер правительства приникли, притихли, быстро превратились в ультраконсерваторов, даже шовинистов — иные искренно, другие надели маски. Но при всяком случае, когда и не нужно, заявляли о своей преданности «престолу и отечеству». Например, Бравин хвастался мне, что бриллианты от пожалованного ему, уже несколько лет спустя после 14-го декабря, перстня он разделил между несколькими своими дочерями, чтоб у каждой осталось воспоминание о «милости». Все пошили себе мундиры; недавние атеисты являлись в торжественные дни на молебствия в собор, а потом с поздравлением к губернатору. Перед каждым, даже заезжим лицом крупного чина, снимали шляпу, делали ему визиты. Только старички, вроде Козырева и еще немногих, ухом не вели и не выползали из своих нор. Козырев саркастически посмеивался и над крутыми мерами властей и над переполохом. Гром в деревенские затишья не доходил.

«Крестный» мой, живучи в городе, наружно, под ферулой прежнего страха, тоже вто-

рил другим. Но иногда я подмечал, что он, стоя у окна и глядя в пространство, что-то горячо бормотал про себя, жестикулировал, по-видимому, протестуя, после разговоров или чтения в газетах о некоторых крутых мерах. Однажды до меня долетели слова: «Простого выговора не стоит, — сквозь зубы бормотал он, бросая газету, — а его на поселение!» Оборотившись от окна, он принимал свой обыкновенный, покойный вид. Катаясь раз по городу, мы встретили какого-то незнакомого господина в коляске. Якубов почтительно с ним раскланялся.

Я спросил: «Кто это такой?»

— Тайный советник Сидоров или Петров (не помню теперь), приезжий.

— Вы не знакомы с ним?

— Нет.

Спросить, зачем кланяется, было неловко: мне уж было ясно, что прежнего страха ради: «чтоб не сочли за вольнодумца, да не донесли... жандармы».

Мне, юноше, были тогда новы если не все, то многие «впечатленья бытия», [8] между прочим, и жандармы, то есть их настоящее,

новое, с николаевских времен, значение. Это значение объяснил мне, тоже шопотом, Якубов, а всю глубину жандармской бездны раскрыл мне потом губернатор, которому я, по настоянию «крестного», все-таки «представился».

До тех пор я видал жандармов в Москве, у театральных подъездов, в крестных ходах, на гуляньях, в их высоких касках с конской гривой, на рослых лошадях. Ни о каких штаб-офицерах, назначенных в каждую губернию, и о роли их я не имел понятия. От губернатора я в первый раз услышал и о важности шефа их, графа Бенкендорфа, и о начальнике штаба, тогда еще полковнике Дуббельте, — и обо всем, что до них касается, а более о том, что они сами до всего касаются. Я тогда стал большими глазами смотреть на губернского полковника Сигова. Я думал, что он будет во все пристально вглядываться, вслушиваться и даже записывать, что от него все должны бегать и прятаться. Но, к удивлению моему, я видел его окруженного толпой и мечущего банк в некоторых домах, в приемные вечера, обыкновенно в особой задней комнате, в облаках

табачного дыма.

— Как же так? — спрашивал я, невинный юноша, в недоумении у губернатора, — ведь его обязанность, вы говорите, доносить о беспорядках, обо всем вредном, запрещенном — так как он цензор нравов — стало быть, и об азартных играх; а он сам тут играет и прячется?

— Оттого он тут и везде в толпе, чтобы все смотреть и слушать: иначе как же он будет знать и о чем доносить? — был ответ.

Я дал понять выше, что Якубов был барин в душе, природный аристократ. Между прочим, он был сын своего века, крепостник. Это, повидимому, противоречит «джентльменству». Нисколько, если не сходить с почвы исторической перспективы. А у нас, в настоящее время, начавшееся, впрочем, уже с сороковых годов, линии этой перспективы, как будто сгнившие, ненужные плетни, повалены, сломаны. Удят из прошлого какую-нибудь личность, отделяют ее от времени, точно отдирают старый портрет от холста, от освещения, колорита, аксессуаров обстановки, и неумолимо судят ее современным судом и казнят, забывая, что она носит девизы и цвета своего века, его духа, воспитания, нравов и прочих условий. Это все равно, что судить, за чем лицо из прошлого века носило не фрак, а камзол с кружевными манжетами, и, пожалуй, еще зачем не ездило по железным дорогам.

Не подумают эти легкомысленные судьи, что через какие-нибудь полсотни, сотню лет,

если последующие поколения будут смотреть на них сквозь подобные очки, они предстанут перед ними куда в непривлекательном виде! Ведь потомок далеко уходит от предка вперед, и кажется умнее его — благодаря приращку знания, опытов, открытий, нажитых временем. Но умен ли он в самом деле — это еще вопрос. Имея это в виду, предвидя не в далеком будущем суд потомка над собою, умный потомок воздержится от легкомысленного смеха над предком, кажущимся простоватым, несведущим, неумелым.

Такие судьи в свое оправдание, пожалуй, укажут на Белинского: он-де тоже повинен в этом грехе: впадал в резкость, изрекал строгие, даже желчные приговоры минувшему времени, минувшим деятелям, иногда стяжавшим заслугами почет и уважение своих современников.

Да, водилось это и за Белинским, искренним, правдивым, но горячим в своих увлечениях. Но, однако, тот же Белинский, где-то в одной своей статье, не помню по какому поводу, заметил, что теперь любой студент математического факультета знает больше Пи-

фагора или Эвклида — и, кажется, если память не обманывает меня, приходит к вопросу: а был ли бы современный студент на высоте этих ученых мужей в их время?

Но сам он, Белинский, иногда действительно неблагосклонно смотрел в прошлое.[9]

Между прочим, он с задором нападал и на Пушкина за то, что тот, — пожалев, что «нет князей Пожарских, что Сицких древний род угас», — с укором отозвался о том, что осел «демократическим копытом лягает геральдического льва» и что теперь «спроста лезут в tiers-état».[10]

Здесь Белинский горячо упрекал Пушкина, которого так высоко ценил, конечно, за то, как этот гений не оценил «пружины смелые гражданственности новой»,[11] как не проникся духом времени, не воспринял и не пропагандировал начал этой гражданственности. Ему, кажется, было больно за Пушкина.

Но он, вне минут раздражительных увлечений, умел быть беспристрастен. Например, он не мог выносить Кукольника,[12] как автора напыщенных и ходульных драматических поэм — «Тасс», «Джулио Мости», фальшивого

романа «Эвелина де Вальероль», — но как ласково, с какой теплотой отзывался он о поведеньях того же Кукольника из петровской эпохи, в которых автор был прост и правдив!

И вне литературы, в житейском быту, Белинский умел смотреть на разные явления, которые должны бы возбуждать в нем дух противоречия и раздражения, совершенно покойно и разумно.

В Петербурге, будучи уже на службе, я однажды в Новый год, между визитами по начальству, заехал к нему в форменном фраке, в белом галстуке.

— Что это: подлость? — дразнил я его, зная, как он восставал против всяких поклонений и поклонов.

— Подлость, не нами начатая, — добродушно заметил он, — выдумывать и вводить новую подлость — это подло, а повторять старые приходится сплошь да рядом.

В бросанье камней в прошлое и в отживших людей у Белинского явились подражатели, чуть не целая школа. Ничего не стоит выудить кого-нибудь из давнопрошедшего и отдельывать на все корки. Мудрая латинская по-

словица: de mortuis aut bene, aut nihil[13] — давно сдана в архив.

Но Белинский бывал виноват в пристрастных — и, с исторической точки зрения, неверных — порицаниях прошлым людям — под давлением своего искреннего влечения к лучшему, которого требовал даже от прошлого, как некоторые ревнивцы скорбят, зачем в любимой женщине не все чисто и светло в ее прошлом. А эти другие, непризванные «строгие ценители и судьи»[14] из чего бьются, запальчиво замахиваясь своими детскими трюкками на отживших деятелей? Считают ли они себя лучше их? Вероятно, так: порицать можно только то, чего за собой не признаешь, — иначе язык не повернулся бы говорить, по пословице, «о воре, когда на самом шапка горит».

Обращаюсь к Якубову. Он непробудно жил и умер на лоне крепостного права и пользовался последним — не как все помещики, а никогда не злоупотребляя своими правами. Я уже сказал, что дохода и разных продуктов с земли своей он получал столько, сколько «привезет староста». В дворне у него, кроме

своего кучера, повара и двух, трех лакеев с семействами, были еще столяры, портные, сапожники. Он отпускал их по городу на оброк, не справляясь, где и как они живут, что зарабатывают. Он не получал с них ни гроша, и только когда понадобятся ему сапоги, он велит своему сапожнику сшить, заплатив, что стоит товар. Понадобится починка или заказ новой мебели — то же самое.

Домашней крепостной прислуге — а тогда другой, наемной, не было — жалованья не полагалось, но каждый праздник он позовет, бывало, меня и отдаст разложенные у него кучки серебряных рублей. «Это, — скажет, — отдай Ваське, это Митьке, это Гришке, всем сестрам по серьгам», — прибавит в заключение. Сам никогда лично не давал, а через нас.

— «Митька», «Васька», «Гришка»! — скажут на это новые люди, — разве это не мерзко? — Теперь мерзко, да и нельзя: крепостных людей нет, и никто не позволит называть себя кличками, как собак. А тогда не казалось мерзко: все старого поколения люди привыкли к этому, и я не слыхивал, чтобы тогдашние пожилые помещики, умные, образованные,

даже в столице, иначе звали прислугу, как: «малый» или «Петрушка», «Егорка», «Машка», «Дашка» и т. д. Другой манеры звать не было, разве кто носил такое имя, что никак не вопрежь его в уменьшительное, например: Ферапонт, Сосипатр, Трефил, женщина Макрида.

Мы все, то есть тогдашнее новое поколение, конечно, так уже не обращались с прислугой. Кстати припомнить, что и Грибоедов подтверждает этот обычай. У него Фамусов не иначе зовет прислугу, как «Филька», «Петрушка». Следовательно, винить Якубова за повсеместный в его время обычай было бы несправедливо. Пожалуй, иной из «молодых» упрекнет его за то, зачем он не говорил слугам: вы. Однако, услышав однажды, что я сказал человеку: «Петр, пожалуйста, принеси мне...» (не помню что), он обернулся от окна и с живостью заметил мне: «Как это твое «пожалуйста» хорошо!» Скажут, что ссылаться на Фамусова нельзя: он-де на то и Фамусов, что в нем воплощается застарелая порча его века, как и в Скалозубе, и в Молчалине, и в других. А вот был же-де Чацкий, который лучом света

рассеял эту тьму, и т. д.

Да, был Чацкий — Грибоедов: а много ли их было, этих вестников нового мирозерцания, новой жизни? Стало быть, всякий новый современный судья прошлого, оглядываясь назад, ставит себя на место Чацкого? Это скромно! Не походит ли, однако, такой судья на вышеприведенного студента математического факультета, который, зная теперь больше, чем Пифагор или Птоломей, вздумал бы поставить себя на их место?

Как прав был Гоголь в своем ответе на упрек, зачем он не вывел в «Ревизоре» ни одного хорошего человека! [15] Все бы стали ставить себя на место хорошего человека, и никто не захотел бы узнать в себе ни Хлестакова, ни Городничего и прочих. Грибоедову нельзя было обойтись в своей комедии без «хорошего человека», и вот все судьи прошедшего ставят себя в роль Грибоедова — Чацкого.

Но ведь Фамусовы, Скалозубы, Молчалины, Хлестаковы есть и теперь и будут, может быть, всегда не в одном русском, но и во всем человеческом обществе, только в новой фор-

ме: тем и велики и бессмертны обе комедии, что они создали формы, в которые отливаются типы целых поколений.

Поэтому не мешало бы поглубже задуматься над вопросом всякому, куда бы он в прошлом мог пристроить себя: к Фамусову, Хлестакову, Городничему и другим, которых была целая рать, большинство, или же к редким, блестящим исключениям вроде Чацкого?..

Я брошу на Якубова еще бóльшую в глазах «строгих судей» тень. Он был вспыльчивый, как порох, но не желчный; незлобивый старик. От мгновенных вспышек его не оставалось никакого дыма, как от пороха. Провинится человек, не угодит ему, рассердит, обыкновенно пустяками какими-нибудь, он затопаёт, поднимет оба кулака, иногда сложит их вместе и, грозя, закричит: «Дьявол твою душу побери! Я тебе голову проломаю!» Это были его точные выражения в гневе. В эти минуты тому, кто не знает его коротко, он покажется страшен. Но в одну минуту гнев погасал, как молния, и никогда ни одному слуге он не только «головой не проломал», но

никто не видал, чтобы он тронул кого-нибудь щелчком, даже чтобы мальчишку взял за ухо или за волосы. У него в руках и приемов для драки не было.

А грозен он бывал до комизма. Сидит, бывало, за столом: случится иногда, что суп пересолен или жаркое пережарено. «Малый! — закричит он грозно, — подай палку!»

У него была дубинка с круглой головкой, сопровождавшая его в прогулках. «Малый», иногда лет пятидесяти или шестидесяти, стоявший, в числе других трех или четырех таких же «малых», с тарелками за нашими стульями, а летом махавшими над нашими головами ветвями от мух, — «малый» приносил дубинку.

— Поди, дай понюхать Акимке (повару)! — приказывал Якубов, — и скажи, что он отвечает этого кушанья, если опять пересолит суп.

«Малый» серьезно выслушивал приказание и шел в кухню, к Акимке, с дубинкой. Неизвестно, давал ли он ему понюхать ее.

Вспыльчивость Якубова была, конечно, делом его личного темперамента, а сдержанное,

холодное отношение к крепостным людям исходило из условий не одного крепостного права. Он служил в военной, и притом морской службе, где субординация и дисциплина, особенно в прежнее время, соблюдались во всей строгости по морскому уставу Петра I, даже до жестокости. Командиру военного судна предоставлялись во время похода, в море, широкие права, между прочим, в крайнем случае право на смертную казнь подчиненных. Эти следы субординации и почтения к властям и вообще к старшим, он вынес оттуда же и сохранил до гроба.

По этой причине он настаивал, чтобы и я ехал «представляться» к губернатору, к архиерею и всем губернским властям и вообще людям с чином, с весом в губернии.

Нечего делать, надо было исполнить желание старика.

## VI

На паре, в дрожках, подкатил я к губернаторскому дому, робея, сам не зная чего, вероятно, под влиянием понятий Якубова о приличиях, и вошел в швейцарскую. Швейцаров в провинции тогда не водилось: не от кого было стеречь, оттого и звонков не было, двери в подъездах никогда не запирались. Лакейские были битком набиты праздными лакеями. Меня принял жандарм и пошел доложить «камердину». Приказано просить.

Через обширную, изящно убранную длинную залу, всю в зеркалах, с шелковыми занавесами, люстрами, канделябрами, меня ввели в кабинет. Я ожидал видеть какого-нибудь обрюзглого старика, как видал прежде губернаторов, в детстве, и вдруг увидел господина лет сорока с чем-нибудь, красивого, стройного, в утреннем элегантном неглиже, с кокетливо повязанным цветным галстуком. Он встретил меня по-губернаторски, бегло взглянул на меня, слегка кивнул, но не подал руки. Тогда высшие чины не были, как теперь, фамильярны с низшими.

— Сию минуту кончу, а пока присядьте, — сказал он, указывая стул, ласковым, приятным голосом.

Я сел. Худощавый брюнет, секретарь, читал ему бумаги и подавал к подписи. Я между тем всматривался в губернатора и в убранство кабинета.

У губернатора были красивые, правильные черты лица, живые карие глаза с черными бровями, прекрасно очерченный рот с тонкими губами. Взгляд беглый, зоркий, улыбка веселая, немного насмешливая. Стройные, красивые руки с длинными прозрачными ногтями. Дома, в утреннем наряде, с белыми, как снег, манжетами, он смотрел фрantom, каких я видал потом в Петербурге, в первых рядах Михайловского театра. В черных волосах у него пробивалась преждевременная седина, как бывает у брюнетов.

На этажерках, на столе стояли статуэтки, дамские портреты, разные элегантные безделушки. На стенах несколько картин и у одной — шкаф с книгами.

Губернатор кончил. Секретарь стал откланиваться.

— Вы не знакомы? — спросил он нас.

— Нет, — отвечали мы оба.

— Иван Иванович Добышев, правитель канцелярии.

Мы слегка поклонились друг другу.

— А... ваше имя и отчество, позвольте...

Я сказал; он повторил секретарю.

— Вы прямо из университета? — обратился он ко мне.

— Да-с.

— Что ж вы намерены теперь делать?

— Теперь пока отдыхаю, а зимой собираюсь в Петербург на службу.

— Военную или статскую? и т. д.

Я стал раскланиваться.

— Кланяйтесь Петру Андреевичу (Якубову), — прощался он, опять не подавая руки, — да скажите ему, что и я и жена, мы оба пеняем, что он не заедет к нам. Я его почти всякий день вижу, как он ездит кататься мимо.

— Хорошо-с, скажу. Он никуда не заезжает, боится! — сказал я,

— Чего?

— 14 декабря всех здесь напугало: его, кажется, больше других.

Губернатор звонко закатился смехом, показывая отличные белые зубы.

— Пойдемте к жене, скажите ей, — и повел меня через залу в другую, третью и, наконец, четвертую комнату.

— Марья Андреевна, где ты? Послушай, отчего Якубов не бывает у нас!.. — Он ввел меня.

Жена его, уже упомянутая выше худощавая дама, с поблекшими щеками и синими впалыми глазами, сидела в белом пеньюаре, с неубранной головой, в маленькой гостиной.

— Послушай, Лев Михайлыч: это ни на что не похоже; ты ведешь прямо ко мне, да еще молодого человека, а я не одета!.. — упрекнула она.

— Представляю тебе: такой-то.

— *Monsieur est très présentable*, [16] — бесцеремонно, вслух заметила она, с любопытством оглядывая меня с ног до головы.

Я поежился от этого замечания прямо мне в глаза. «Как римская матрона с рабом, не церемонится!» — подумал я, помня еще римскую историю после университета.

— Знаешь, отчего Петр Андреевич не ездит к нам? боится заговора, тайных обществ: у

нас-то! А впрочем, знаете что, — прибавил он, обращаясь ко мне, — у меня между декабристами много приятелей, есть и родные. Да от нас, кто был помоложе, таились тогда, и я попал в противный лагерь и фигурировал на площади 14 декабря: в меня камнем бросили из бунтующих рядов, с ног сшибли... Это было замечено...

— И слава богу! — заметила жена, — за то ты теперь губернатор, а то бог знает, что было бы с тобой, если б связался с ними!

Якубов верить не хотел, когда я передал ему этот разговор. «Он с ума сошел: в первый раз видит тебя и разболтался! Услышит жандарм, ведь донесет!» — говорил он.

— Скажите Петру Андреевичу, что мы его очень любим, — прощаясь, говорила губернаторша, — чтобы заезжал каждый день; обедать бы приехал! А вы, когда начнутся вечера, будьте нашим гостем. Вы танцуете, и, верно, хорошо?

— Большой охотник! В Москве, на вечерах, я всегда начинал мазурку, — похвастался я

— И прекрасно. Соня! где ты, Соня? Поди сюда! — кликнула она в открытую дверь бо-

ковой комнаты.

Вошла молодая прелестная девушка, между пятнадцатью и шестнадцатью годами, с таким же острым и живым взглядом, как у отца, с грациозно сложенными губами, с красивым носиком, с ярким, нежным румянцем.

Она застенчиво присела в ответ на мой поклон.

— Вот у нас еще танцор: он будет твоим кавалером на наших вечерах вместо этого неуклюжего Миши Лопарева...

Ее взгляд мельком скользнул в мою сторону. Она опять присела и скрылась. После этого я уехал и долго не являлся к губернатору, пока он не прислал за мной жандарма, как меня ни принуждал Якубов.

— Вместе с вами, пожалуй, — отговаривался я, зная, что он не поедет.

Еще до наступления зимы я успел перезнакомиться со всеми губернскими властями, председателями, советниками палат, членами разных правлений и многими приехавшими на житье в город помещиками.

Почти всех этих членов, от больших до малых, привязывало к службе не одно жалова-

ные, тогда незначительное. Какой-нибудь председатель палаты получал тысячи три, советники — тысячи по две с половиной (ассигнациями), а младшие, правители дел, разные секретари и т. п., кто полторы, кто тысячу рублей; ниже спускалось до семисот и трехсот рублей, даже менее.

Очевидно, жить этим было нельзя, иногда с семейством, особенно в провинции, где даже у мещан водились свои лошади. Обедать всякий дома, клубов не водилось. Обедая в гостях, приходилось принимать и у себя: везде расход. Чем же жили все эти «служилые люди»? А доходами.

От Якубова я узнал историю состояния каждого из губернских тузов. Крупные дворянские состояния, источники и количество доходов он, не знавший только своих собственных, знал отлично. «Вот у братьев Иглевых, — говорил он, — до пятисот тысяч дохода: старший живет роскошно, мотает, а у младшего, Н. М., никто никогда чашки чая не выпил. Сидит безвыездно в деревне. Сам по утрам пьет молоко, а за обедом ест вареную говядину с кислой капустой. А дом у него ста-

ринный, барский, одни оранжереи чего стоят! Персики, ананасы свои...»

— Ведь он ест же их: не все одну капусту! — возражал я.

— Как не так, — ест! Всё посылает в город на базар. На одних яблоках тысяч пять получит в год. А тронет в саду яблоко мальчишка или баба — так вздует!

Про другого говорил:

— А этот сотню тысяч получит в год, а проживет две — на псовую охоту.

Про чиновников, дельцов, катаясь со мной по городу, сообщал много подробностей. Укажет, бывало, то на тот, то на другой дом: «Вот это дом советника или председателя такого-то — и расскажет при этом: — Он приехал сюда, на мундир денег занял у меня, а теперь у него деревенька с тремястами душ, да домик этот выстроил, жене из Москвы наряды выписывает, ведет большую игру».

— Откуда же все это: богатую невесту, что ли, взял? — спросишь.

— Нет, бедную дворяночку взял, сироту. Как откуда? Лет десять секретарем в конси- стории пробыл, там нажил, потом губернатор

Тмакин переманил его к себе в секретари, дельный был, а потом съездил в Петербург, подмазал где следует и воротился председателем. Хапун, пострел! — заключал он.

Обо всех отставных и служащих он развивал передо мной такую же хронику. Отзывы эти проникнуты были брезгливостью. Честный моряк, не знавший даже доходов с своего имения, очевидно презирал этот способ наживы. От этого он бросил свою гражданскую губернскую службу. «Нашему брату, дворянину, грязно с ними уживаться», — отзывался он.

Впрочем, весь город, то есть все губернское общество, не только мирилось с системой чиновничьих доходов, но даже покровительствовало ей. Плохенького, не умевшего наживать этим способом или занимавшего неподходящее место — не носили на руках.

Правительство, конечно, знало, что казенного жалованья нехватает на прожиток, потому и не совало носа в омут непривилегированных поборов — стало быть, терпело их; по-французски есть верное слово: *tolérait*. [17]

Такие поборы и не назывались взятками.

Этим словом клеймили обыкновенно вымогательство, прижимательство, голую продажу правосудия в уездном суде, в палате, в процессах по имущественным делам. Такие судьи-лихоимцы были у всех на виду и на счету и уважением не пользовались. Если в обществе водились с ними, то это только по личным расчетам.

— Хапун, пострел! — говорил Якубов при встрече с таким судьей и быстро перекидывался на другую сторону линейки, чтоб не отвечать на поклон.

Какие же, спрашивается, доходы затем могли получать служащие? Я недоумевал, но, перезнакомившись с служебным персоналом, я мало-помалу проник взглядом в губернскую бездну. Например, я узнал, что всякий священник или благочинный, обязательно представляя в год две книги в консисторию, одну метрическую, другую не помню какую, прилагал, смотря по приходу, известную сумму для секретаря: кто сто, кто двести или и более рублей. Можно сообразить, по числу приходов в епархии, какая почтенная сумма составлялась из таких приношений. А если к этому

прибавить бракоразводные дела — то как было не нажать секретарю дома и деревни!

Точно так же и в губернской службе: городничие, исправники представляли свои годовые ведомости, отчеты и прочее, тоже «сложением» известной суммы, иногда крупной, если в этих отчетах и ведомостях, то есть в городах и уездах, не все обстояло благополучно.

Давали не то что случайно, для покрытия каких-нибудь крупных дел, а так просто, по обычаю. И как не дать: пожалуй, иной правитель дел или лицо по особым поручениям при случае и напакостит, а получив подарочек — посовестится, а если бы случился грешок, то замнет, промолчит.

Прошу заметить, что я говорю про давно-прошедшее время: теперь, вероятно, священники посылают в консисторию только одни книги, а городничие и исправники — одни чистые отчеты, без «вложений» для секретарей.

Я помню юмористический рассказ губернаторского чиновника по особым поручениям, Янова, человека образованного, собесед-

ника веселого, неистощимого на анекдоты и рассказы. Предместник Углицкого употреблял его по письменной части, так как он писал скоро, живо и хорошо, но должен был удалить его от писания. Он в деловые бумаги подпускал остроты и юмор. Губернатор ему однажды заметил, что в деловых письмах к важным лицам надо писать имена их полностью, например: не Егор Петрович, а Георгий, не Ефим, а Евфимий Иванович, не Сергей, а Сергей и т. д., а к неважным лицам можно-де писать просто. Янов принял это к сведению и пошел писать: к какому-нибудь министру в Петербург — «Федорей Павлович», «Михалий Иванович», а к простым, напротив, вместо Афанасий Степанович, писал «Афанас Степанович» и т. п. Несколько таких бумаг успели проскочить в Петербург и возбудили там внимание. Потом в одной деловой бумаге, говоря о каком-то умершем чиновнике, написал, что «покойный был беспокойного нрава». За эти остроты от писания бумаг его устранили.

Обращаюсь к его рассказу. Это говорилось в губернаторской канцелярии, при других, между прочим, при правителе канцелярии.

Губернатор задумал объезжать, по положению, губернию и послал Янова вперед, в те места, где он хотел сам побывать и осмотреть. Это делалось с тем, чтобы по уездам привели все в порядок, исправили неисправности, словом — чтоб проснулись, где власти спят, и принялись за дело. Заставать врасплох и потом карать за неисправности или ждать исправления — казалось хуже. По отъезде губернатора опять спустили бы рукава — и спускали. Губернские власти знали это очень хорошо по опыту.

— Вот я поехал, — рассказывал Янов, — приехал в К., остановился у городничего; квартира уже была готова. Он угостил отличным завтраком, потом стал показывать толстые дела, какие-то книги и бумаги. «Потрудитесь проверить приход и расход сумм», — говорит. Я, наморщив лоб, пристально заглянул в них, не прочитал ни строчки, притворился, что проверил итоги. «Верно, говорю, прощайте». — «Вот еще полиция, пожарная команда, говорит, не угодно ли взглянуть?» А я уж влез в тарантас. «Ах, чорт бы тебя взял, мучитель!» — думаю. «Превосходно, говорю,

так и блестит! А пожарные, какие молодцы?» — добавил я, глядя на мизерных, маленьких четырех солдатиков в изношенных мундирах. «Мундиры с иголки», — подсмеивался я. Я стал надевать перчатки: только один палец не лезет — что такое? Я опрокинул перчатку: из пальца ко мне на колени посыпались золотые, штук двадцать. Я проворно подобрал, спрятал их в карман. «Прощайте, говорю, приподняв фуражку, у вас все в отличном порядке, вы примерный чиновник, — так и губернатору доложу. Трогай!» Приехал в С. Та же история: ночлег у городничего, отличный ужин с шампанским — и где только они его там берут в захолустье? На другой день такой же смотр и отъезд. Прощаюсь, надеваю перчатку: опять палец не лезет и перчатка тяжела. Мне это понравилось. Дальше я уж сам стал смотреть, — тяжела ли перчатка и лезут ли пальцы?

— Вы, может быть, думаете, что он шутит? — сказал мне секретарь, смеясь, — вовсе нет: это точь-в-точь было!

— Какие шутки! — почти обидчиво заметил рассказчик. — Воротаясь, после ревизии, я

за обедом у губернатора рассказал и распотешил всех.

— И губернатор слышал?

— Как же: он больше всех тешился! — заключил рассказчик.

— За что же вам давали?

— Как же: за то, что не смотрел и не видал ничего.

— И у вас не было того, что называется... — начал я и остановился, приискивая слово.

— *Scrupule*, [18] верно, хотите вы сказать? — договорил Янов, — было, как не быть! Я даже думал, не отдать ли назад, да... передумал. Ведь это не взятка, — фи, как можно! Я не способен ни прижать, ни пожаловаться, и если б нашел неисправность, сам заметил бы и посоветовал исправить. А тут просто суют в руки лишние деньги, да еще нажитые, очевидно, несправедливо. Как же их не отобрать и не спрятать в карман, тем более что перчатки разорвались, не выдержали бы...

И рассказчик, и все слушатели смеялись.

Зимой, я помню, одна барыня, небогатая помещица, сетовала, рассказывая своей приятельнице при мне и еще при одном родствен-

нике, старике, по секрету, о своем недоумении, за кого выдать дочь, хорошенькую девушку, с которой мне приходилось иногда танцевать на вечерах.

— Двое приглядываются к моей Кате, — говорила она, — и Ягорский и Мальхин: того и гляди сделают предложение, а я не знаю, как быть, за которого отдать? Ягорский — жених бы хоть куда! И Кате нравится, из себя видный, славно танцует, по-французски говорит, так и сыплет...

— Так вот за него бы и отдать, если он нравится барышне, — вставил я.

— Вот молодые люди: у них все романы в голове! У меня еще дома две на руках: многого я дать не могу, чем же станут молодые жить? Вот у Мальхина, так у того полтора ста душ, доходу от должности, говорят, тысяч пять получает...

— Помилуйте, он плешивый, толстый, да еще взятки берет! — брезгливо перебил я.

— Ну, нет: он свежий, бодрый, что называется — «в соку». Брюшко точно — есть, но он еще танцует на балах, — заступился за него старичок. — А какие это взятки! Не взятки,

милостивый государь, а доходы получает по месту советника казенной палаты! — строго прибавил он.

— Ну, это все равно! — сказал я.

— Как все равно! — горячился старик, — не все равно! Вот будете служить, тоже сами будете получать доход: без дохода нельзя...

— Не буду! — сердито отрезал я.

— Молодо, зелено! — сказала мать Кати.

Так казна, пассивно допуская нештатные «сборы», негласно делилась с служащими своими доходами и тем дополняла не хватавшее на прожиток скудное жалованье.

## VII

Губернатор, Лев Михайлович Углицкий, был старинного дворянского рода, учился, кажется, в пажеском корпусе или дома, а вернее, должно быть, нигде не учился. Он бегло говорил по-французски, а русской речью владел мастерски, без книжного красноречия. Она свободно лилась у него, умно, блестяще, с искрами юмора, с неожиданными ловкими оборотами, остроумными сравнениями, антитезами. Я, да и другие тоже заслушивались его рассказов: он был виртуоз-рассказчик. Он отлично пользовался — не приобретенными систематическим путем, а всячески нахватанными знаниями почти во всем и обо всем. А нахватал он знания не из книг, не в школе, а с живых людей, на ходу, в толпе бесчисленных знакомых во всех слоях общества. У него в памяти, как у швеи в рабочем ящике, были лоскутки всяких знаний, и он быстро и искусно выбирал оттуда нужный в данную минуту клочок. Что западало ему в память, то и оставалось там навсегда и служило ему верно. У него развился взгляд и вкус и в литературе и

в искусствах, особенно в живописи. Он был не только любитель, но и знаток хороших картин. Апломб в разговоре, что называется, у него был удивительный: он отважно врезывался в разговор, как рубака в неприятельский строй, и отлично уклонялся, когда натыкался на неодолимую преграду.

Особенно мастерски владел он софизмом, как отличный дуэлист шпагой, и спорить с ним, поставить его в границы строгой логики было мудрено: он не давался.

Некоторые из его рассказов так и просились под перо. Если б я мог предвидеть, что когда-нибудь буду писать для печати, я внес бы некоторые рассказы в памятную книжку. Иные еще и теперь сохранились у меня в памяти. Особенно интересны у него выходили характеристики некоторых известных, громких личностей, с которыми он был в сношениях личных или служебных. Он долго служил адъютантом у разных начальников и сохранил в памяти живую характеристику о них. У него была масса воспоминаний, скопившихся за тридцать с лишком лет, с начала нынешнего столетия. Он так же, как Онегин,

помнил и все анекдоты «от Ромула до наших дней».[19] У него в натуре была артистическая жилка — и он, как художник, всегда иллюстрировал портреты разных героев, например выдающихся деятелей в политике, при дворе или героев отечественной войны, в которой, юношей, уже участвовал, ходил брать Париж, или просто известных в обществе людей. Но вот беда: иллюстрации эти — как лица, так и событий — отличались иногда такою тонкостью, изяществом деталей и такою виртуозностью, что и лица и события казались подчас целиком сочиненными. Иногда я замечал, при повторении некоторых рассказов, перемены, вставки. Оттого полагаться на фактическую верность их надо было с большой оглядкой. Он плел их, как кружево. Все слушали его с наслаждением, а я, кроме того, и с недоверием. Я проникал в игру его воображения, чуял, где он говорит правду, где украшает, и любовался не содержанием, а художественной формой его рассказов. Он, кажется, это угадывал и сам гнался не столько за тем, чтобы поселить в слушателе доверие к подлинности события, а чтоб произвести извест-

ный эффект — и всегда производил.

Между тем все-таки он был безграмотный, или по меньшей мере полуграмотный. Ни по-русски, ни по-французски он не напишет двух-трех строк грамматически правильно. Орфография и синтаксис отсутствовали. Для переписки, даже для писания простых интимных писем ему нужен был секретарь или секретари. Как это могло случиться — не знаю и до сих пор. Я долго, особенно после, в Петербурге, служил ему добровольным секретарем.

Губернаторский дом был убран со вкусом и поставлен Углицким на широкую, щегольскую ногу. Особенно коллекция картин в его кабинете была замечательна. Кроме того, вдобавок к казенной мебели он выписал еще много ненужных вещей, всегда с печатью вкуса, из Петербурга и Москвы, завел щегольский экипаж, красивых лошадей, выписал тонкого повара. Камердинер у него был что-то вроде какого-нибудь французского Ляфлёра, Пикара или Лебедея, гладкий, красивый, откормленный, одет щегольски, почти как его господин, с напускной важностью, почти-тельный с его превосходительством и наглый

с просителями, плут и взяточник. Словом, все — на широкую, барскую ногу, и не по провинциальному, а по петербургскому масштабу.

«Стало быть, у него много было денег?» — следует за этим вопрос. — Ничего у него не было, кроме жалованья и... долгов! Жалованья полагалось губернатору шесть тысяч рублей (ассигнациями), казенный дом, отопление, освещение — и только. После, кажется, впрочем, удвоили оклад, но не помню, было ли то при Углицком, или после него. Как же жить, да еще на такую широкую ногу, щегольски?

Подумают, может быть, что он тоже имел «доходы» по должности. Нет, никогда. Он был очень опрятен, держал себя безукоризненно, джентльменом. Все, что доставлялось на губернаторский дом из лавок, оплачивалось немедленно. Так было во все время его губернаторства, и при отъезде его оттуда за ним ни у одного купца, ни в какой лавке не осталось ни гроша долга.

Он щеголял этим, как щеголял изящным костюмом от петербургского портного, покро-

ем и белизной белья, чистыми, прозрачными ногтями. Ничем этим, как и мелкими долгами, он не грешил. «Это «mauvais genre», [20] — говорил он. — После того остается мне пойти с этими торгашами в харчевню чай пить или в Петербурге гулять по Невскому проспекту в фуражке, а в театре в первый ряд залезть в зеленых замшевых перчатках и т. п. Фи! On risque se déclasser!».[21]

Крупных «доходов» по службе он гнушался не менее — вроде, например, положенных будто бы ежегодных субсидий от откупщика губернаторам и другим властям покрупнее, по несколько тысяч. Углицкий сказывал мне потом об этих попытках приношения со стороны откупщика.

— Как же вы это приняли? — спросил я.

— Allez vous promener! [22] — сказал я ему на его намеки. «Но ведь это везде делается: это обычай!» — настаивал откупщик и отошел с носом.

Это, конечно, была правда. Если б Углицкий поползнулся на такой доход, он мне бы об этом не заикнулся.

Но... но... вот он что прибавил и поставил

меня в тупик.

— Кто берет эти приношения, — сказал он, — те обязаны потом делать по откупам разные потворства. Прошлой весной он подъехал было ко мне с просьбой: выпусти, да выпусти я хлеб к сплыву по Волге...

(Какой это хлеб и почему его нельзя было отпустить, я теперь совершенно забыл.)

— Что же вы? — спросил я, — конечно, не разрешили?

— Разумеется, нет. Стал приставать: мы с ним приятели — хлеб-соль водим; *c'est un bon enfant après tout*. [23] Мне не хотелось отделаться сухим отказом: «Вот, — сказал я, — я на той неделе еду в С. уезд — вы ведаетесь, как хотите, с вице-губернатором: он без меня будет управлять губернией».

— Что же он?

— Ничего не сказал, почесал только за ухом. Я уехал. Переправляюсь в С. уезде через Волгу, вижу: плывут росшивы. Спрашиваю, с чем это? от кого? «С хлебом, говорят, откупщик вниз спускает...»

Губернатор заключил еще свой рассказ смехом. Не знаю, заметил ли он, какой круп-

ный и неприятный софизм вставил он в свою службу. Мой барометр его нравственности стал колебаться.

Потом он на вечерах играл в карты, если не с азартом, то с значительным увлечением, между прочим и с откупщиком. Злоязычный Янов рассказывал, что «откупщику не везет в игре... с Львом Михайловичем», — добавил он с комическим вздохом.

— Зачем же он не бросит, если проигрывает? — спросил я.

Янов засмеялся и похлопал меня по коленке.

## VIII

Но все-таки Углицкий был в долгу, как в шелку. У него были не мелкие, а довольно крупные и притом стереотипные долги. Общую сумму своих долгов он определял в тридцать семь тысяч, то есть стереотипных долгов. Сумма же подвижных, мелких долгов менялась, то повышалась, то понижалась: последнее случилось, когда заимодавец попадал в «денежную минуту», узнавал, что Углицкий получил куш. Он уплачивал если не все, то хоть часть. Если же долг затягивался, то после известного срока причислялся к стереотипным. Правда, он возлагал упование на наследство после какой-то богатой бездетной тетки в Петербурге, — но это наследство было проблематическое, вроде ожидания приезда богатого дяди из Америки.

Итак, он жил прежде всего долгами, как отец Онегина,[24] по словам Пушкина. Тогда, кажется, и все старое поколение пробавлялось этим способом: только «ленивый», по поговорке, не делал долгов. Когда, бывало, упрекнул кого-нибудь долгами, у виноватого

всегда был готов стереотипный ответ: «У кого их нет?»

У Углицкого делание долгов было приведено в систему, которую он прилагал к делу так же виртуозно, как юмор и остроумие к рассказам. Система, очевидно, принадлежала воспитанию и нравам его времени. Долги делались и не платились как-то помимо всяких вопросов о нравственности, как хождение в церковь и усердное исполнение религиозных обрядов у многих молящихся часто не вяжется с жизнью. Например, украсть у ближнего из кармана, из стола, тайно присвоить — никто и никогда из этих «джентльменов» не решался, скорей застрелится; а занять с обещанием отдать «при первой возможности», «при удобном случае», и забыть — это ничего, можно!

Как могли эти господа жить и спать, что называется, на оба уха, беззаботно, не заглядывая из сегодня в завтра, — непостижимо для человека в здравом уме и твердой памяти! А они жили, и жили уютно, комфортабельно, изящно — и считали себя, не шутя, джентльменами. Например, Углицкий рас-

сказывал мне уже после, когда мы приехали в Петербург (я забегаю вперед), как он однажды за границей очутился «entre de mauvais draps» [25] и как выпутался. После отставки он поселился в Париже, конечно с подругой. Пенелопа его, Марья Андреевна, оставалась в Петербурге, на маленькой квартирке, «на антониевой пище»; дочь была помещена в перво-классный пансион оканчивать воспитание, конечно на чужой счет — тетки или другой благотворительницы — не помню. В Париже он взял квартиру, завел мебель, разумеется изящную — все это на счет своей побочной, увлеченной им супруги. Жила эта чета не стесняясь, пользуясь всеми парижскими благами и, наконец, через год — прожились. Он сбыв мебель и все вещи за бесценок и уехал на Рейн, потом во Франкфурт — и в один день... «Figurez-vous, [26] — говорил он, — у меня осталось всего двадцать пять талеров». Я вчуже ужаснулся, слушая его. «Что же вы сделали?» — спрашиваю я. «Я ходил по франкфуртским бульварам и все думал, как извернуться... Там есть павильон в одном саду, с статуей Ариадны «на тигре», открытый для

публики. Я от нечего делать зашел туда. Смотрю на эту Ариадну и думаю... думаю: «Ведь этот сад богатого банкира... Пойду к нему!» — и пошел. «Дома, принимает. Как о вас доложить?» — «Gentilhomme russe».[27] Банкир принял меня с утонченной вежливостью, спросил, «чему он обязан честью» и т. д. Я ему очень слегка, небрежно, шутя очертил свое критическое положение. «Figurez-vous, — говорю: — у меня двадцать пять талеров в кармане, а мне до дома больше трехсот миль... и мне необходимо...» — «Сколько вам нужно? — спросил он, выслушав, — чтоб доехать». — «Тысячи две франков, я полагаю, довольно...» Представьте, он подошел к столу, отрезал чек на эту сумму и велел человеку проводить меня в кассу...» — «Но ведь ему надо было скоро заплатить: у вас было что-нибудь в виду?» — «Ни гроша в виду». — «Как же вы думали сделать?» — «Никак не думал». Я смотрел на него в страхе за него, а он отвечал мне веселым взглядом. «Il y a une providence pour les malheureux...[28] — продолжал он. — Figurez-vous: по Рейну в это время ехал наш двор; я бросился в Эмс — нашел между придворными

друзей, сослуживцев и представил им свое положение живо, в ярких красках, даже пролезился. Обо мне доложили... Там вспомнили, что я когда-то танцевал на придворных балах... и мне выдали две тысячи пятьсот франков. Я сейчас отвез деньги к банкиру и поспешил в Россию».

Здесь, кстати, приведу еще два рассказа самого Углицкого и его приятеля, отставного полковника Сланцова, друг о друге. Сланцов был однополчанин Углицкого, жил с ним вместе, что называется, душа в душу. То же воспитание, нравы, прекрасный тон, манеры, щегольство, та же бойкость французской и русской речи на словах и та же малограмотность на письме. Кажется, все их поколение как-то свысока смотрело на грамотность. Письменные занятия презрительно назывались некоторыми тогдашними военными: «купаться в чернилах».

У Сланцова было порядочное имение за Волгой, где он проводил летние месяцы, а в городе был гостем Углицкого. Когда они были вместе, для гостей просто был праздник слушать их. Однажды, после обеда, мы сидели у

камина в кабинете Углицкого втроем, то есть они двое и я.

Они пустились в откровенные воспоминания, удили из прошлого друг у друга едкие случаи и перекидывались ими, как шалуны хлебными шариками за обедом между собой.

— Послушайте, что он со мной сделал однажды! — рассказал, между прочим, Углицкий про Сланцова:

— Это было в Германии; мы (с войском) подвигались к французской границе. Наш полк был в... (я забыл теперь, какое местечко он называл). Я был полковым адъютантом. Командир послал меня верст за сорок, к дивизионному генералу, с бумагами и поручениями. Я взял троих людей из полка и отправился верхом. Денег у нас — ни у него (он указал на Сланцова), ни у меня не было ни алтына, nous étions à sec,[29] ждали всё из дома. А из дома получали только слезные письма: «После французов все разорено, не поправились, дохода нет, чтоб потерпели, пробавлялись казенным» и т. п. канитель! Жили мы на одной квартире, у старой немки, обедали у командира да у офицеров, у кого были деньги. Между

тем у нас в полку велась крупная игра. Был один капитан Шлепков — так отшлепывал в банк, что иногда все деньги из полка соберутся у него, — и потом у него же занимают. Усталый, злой, голодный, я воротился дня через три домой. «Где Андрей Иванович?» — спрашиваю у денщика. «К Шлепкову, говорит, пошли, и все господа там». Я стал раздеваться, вдруг вижу письмо за зеркалом: от матери. Я обрадовался до слез, стал читать, пропустил разные домашние подробности, с поклонами от теток, дядей, кузин, и добрался до живого места: «Посылаю тебе, милый Левушка, сто золотых...» Я чуть не прыгнул до потолка. Дальше мельком пробежал строки: «Разорены от французов... береги деньги... долго не пришлю... эти заняла...» и т. д. Я спрятал письмо и стал искать денег на столе, в столе — нету. «Кто принес письмо?» — спрашиваю денщика. «Андрей Иванович, говорит, положил его за зеркало». «Верно, деньги спрятал к себе в ящик: умник!» — подумал я и, как блаженный, поужинал и лег спать. У меня так и звенели в ушах всё золотые. Я мечтал, как я разгуляюсь назавтра и... конечно, поиграю,

обыграю Шлепкова. Утром рано кричу с постели: «Андрей! Андрюша!» Храпит. Через полчаса опять зову. «Мм»... мычит. Потом, слышу, возится, встает. «Где деньги спрятал? — спрашиваю, — в ящике, что ли?» Кряхтит. «Говори же!» — «Погоди... сапог не лезет». Опять кряхтит. «Давай же деньги!» — говорю. «Какие деньги?» — «Как какие деньги? ведь ты, верно, с письмом и деньги из канцелярии принес?» — «Ах, эти-то! Да, принес... Эх, другой сапог не лезет!» — «Где же деньги? Не томи, говори и давай... в столе, что ли, у тебя?..» — «Нет, они... у Шлепкова», говорит. Я ужаснулся. «Как так?..» — «Отшлепал, брат Левушка; так отшлепал... ах, проклятые сапоги!..» — «Ужели ты всё спустил, бессовестный?» — спрашиваю. А он в ответ мне только печально головой кивнул...

— Что ж ты не прибавил вздоха моего? — перебил Сланцов. — Я так вздохнул, что денщик пришел, думал — зову его. «Ужели ты мне хоть пяти золотых не оставил?» — горько упрекнул он меня, как теперь помню...

— И это все правда? — спросил я.

— Да, это... правда, — сознался Сланцов. —

Que voulez vous! Nous étions en guerre, et à la guerre comme à la guerre?[30]

— Но погоди же: ты дискредитировал меня перед молодым человеком — он подумает, что я нахал, а ты великодушный друг! Я тоже могу припомнить кое-что: как ты мне отплатил. *Figurez-vous*, — обратился он ко мне и продолжал по-французски, но потом перешел на русскую речь. — Мы воротились в Петербург, я вышел в отставку, а он (указывая на Углицкого) остался в полку; жили мы вместе. Я нанял квартиру, отделал ее щегольски, купил мебели, ламп, ваз, зеркал, картин, разных дорогих *bibelots* — *cela m'a couté les yeux de la tête*,[31] — словом, промотался, — конечно, пока в долг. Сделал также полный гардероб. Понадобилось мне, однако, съездить в деревню добыть денег. С этой войной да с походами я не имел понятия о своих делах, не знал, что у меня есть, что в имении делается. Я поехал на какой-нибудь месяц — осмотреться, распорядиться. Приехал — и нашел хаос: денег в конторе пять рублей, староста в бегах. Я попробовал похозяйничать — вышло хуже. Зато священник встретил меня с крестом и

святой водой, а приказчик поднес хлеб-соль. Я подумал, подумал, перебивал у всех соседей, звал и угощал у себя уездную челядь, заседателей, исправников и прочих и, наконец, нашел соседа — домоседа, практического хозяина и скрягу, — честного и аккуратного, который всю жизнь просидел между пшеницей и овсом, сам сеял, жал и молот и сам возил свой хлеб на пристань, на Волгу. Он за пять процентов с дохода взял все мои дела на свои плечи. И теперь всем заведует, конечно, лучше меня. Все это задержало меня вместо месяца — целых четыре. Осенью я воротился в Петербург. Приезжаю вечером: его (указывая на Углицкого) не было дома. Было еще не поздно, и я хотел поехать вечером куда-нибудь к знакомым. Обрился и велел дать одеться. «Что прикажете подавать?» — спрашивает камердинер. «Дай синий фрак». — «Синего фрака нет...» — «Как нет: где же он? Я его не брал с собою». Вижу, что Петрушка конфузится и молчит. «Пропил», думаю. «Куда ж ты его девал?» — грозно спрашиваю. «Лев Михайлыч, говорит, взяли...» — «Он мундир носит: зачем ему?» — «Да... заложили!» Я молчал: что было

сказать? «Дай другой: там был зеленый...» — «И тот... тоже-с...» — «Ну, дай сюртук, что есть...» — «Ничего не оставили», говорит. Я отворил шкаф: пустой! Осматриваюсь кругом: все голо! Беру свечку; иду в гостиную, в залу: ни картин, ни ваз, ни серебра... «И это все заложил!!» — в ужасе почти закричал я. «Точно так-с». Только портрет моей покойной жены сиротливо висел на стене под флером! Я в отчаянии пожал плечами. Вот он каков! Теперь и судите, имел ли я право проиграть его золотые! — заключил Сланцов.

— Мне следует спросить, имел ли я право заложить твои вещи? — добавил Углицкий. — *Figurez-vous*, — обратился он, в свою очередь, ко мне, — он (указывая на Сланцова) обещал выслать мне из деревни — если не все, так хоть половину проигранных им моих золотых — и в течение четырех месяцев не только не прислал ни гроша, даже ни строчки не написал! Что мне было делать! Мне на обед нехватало: что, неправда? — обратился он к Сланцову. — Я, закладывая твоё добро, выручал только свои золотые: да! Я хоть портрет твоей жены оставил тебе, а ты мне

ни одного золотого... за границей не приберет. Представьте — ни одного!..

— Ну, Левушка, этого недоставало, чтоб ты еще этот портрет заложил! сознайся — ты был бы, что называется, *franche canaille!*[32] — возразил Сланцов.

— Что вы скажете, молодой человек, слушающая нас? — спросил Углицкий. — Изверги?

— Нет, я ничего не скажу, а после нас со временем будут петь: «Вот послушайте, ребята, как живали в старину!» — заметил я, смеясь. — Но, извините, мне кажется, вы оба в этих рассказах усиливаете колорит. Потом меня не столько удивляет смелость этих ваших проказ друг над другом, сколько трогает кротость, с какою вы оба принимали это. «Ужели ты мне пяти золотых не оставил!» — мягко упрекнули вы за растрату денег в критическую минуту — и только! А вы «лишь пожалели плечами», найдя пустую квартиру. «О дружба, эта ты!» — невольно скажешь!

— О нет, мы дня три ненавидели друг друга после того, дулись, не говорили между собой, а потом сейчас же помирились, как только кто-то первый... не помню, ты или я (Слан-

цов обратился к Углицкому) — денег достали, конечно, в долг... и замазали брешь. А с нами не считались: *твое и мое* у нас, как у допотопных людей, не существовало! — заключил Сланцов.

Меня, нового, свежего молодого человека, удивляло и занимало все в этих людях. И это систематическое, искусное прожительство на чужой счет, и бесцельная канитель жизни, без идей, без убеждений, без определенной формы, без серьезных стремлений и увлечений, без справок в прошлом, без заглядывания в будущее. Если и было дело, оно тянулась вяло, сонно, как-нибудь.

Сколько пропадало, уходило ни на что сил и дарований в этом тогда старом поколении людей! Вот хоть бы эти два представителя своего времени, Углицкий и Сланцов, и сколько других, подобных им, были умные, живые, даровитые. Это видно было из каждого слова, шага. Оба прошли строгую военную школу, сражались, делали, что им приказывали, и ни один не вложил в дело часть самого себя, что-нибудь свое. Из войны, походов, сражений они оба вынесли впечатления личной

отваги, блеска, щегольства, разных веселых авантур за границей, изображали все это в остроумных, пикантных рассказах. Серьезная, строгая сторона той великой эпохи от них ускользнула. Они ее будто не видали, жили как-то вне ее. Дома у себя — та же беззаботность и бессодержательность жизни. Сланцов не умел распорядиться своим имением и сдал его на руки другому. Углицкий в делах по своей должности был очень чуток, наблюдателен и зорок и был бы исполнителен, если б... Вот это «если б»! У меня была бабушка, которая говаривала: «Если б не бы, да не *но*, были бы мы богаты давно!» Был бы исполнителен и Углицкий, если б... хотел.

А был способен. Бывало, пришлют ему массу протоколов из губернского правления для подписания. Он сам слушал чтение их в правлении рассеянно. беспрестанно отвлекался, рассказывал членам новости, анекдоты, шутил. А в кабинете у себя, когда его домашний чиновник, проживавший у него чем-то вроде лягавой собаки, бегавший с разными поносками, и иногда *postillon d'amour*, [33] станет читать подробно, он нетерпеливо вырывает у

него бумагу и подписывает... «Я еще не дочитал, о чем протокол!» — заметит чиновник. «Хочешь, — скажу о чем?» — ответит губернатор и скажет. По одному намеку в начале протокола он знал, о чем говорится дальше, нужды нет, что в правлении слушал чтение в пол-уха.

Толпу просителей примет живо, бойко, разберет и отпустит в какие-нибудь полчаса. Осмотрит тюрьму, какой-нибудь гошпиталь — все это на ходу, мимоездом, до завтрака, а между завтраком и обедом делает или принимает визиты. Словом, снаружи дело так и кипело у него и около него, — и все-таки ничего нового, живого, интересного во всей административной машине не было. У него была тьма способностей, но жив, бодр, зорек и очень подвижен был он сам, а дело оставалось таким же, как он его застал.

Зато как он был представителен, *présentable*, по его выражению! Как красиво губернаторствовал в приемах у себя на дому, в гостиных у губернской знати, на губернаторских выходах в праздники или в соборе у обедни! Всякий в толпе, не зная его, скажет,

что это губернатор. Когда он гулял один пешком по городу, незнакомые встречные снимали шляпу, узнавая в нем «особу». Он пуще всего дорожил представительностью и других ценил по тону, позе, манерам. Он представительность смешивал с добродетелью и снисходил, ради нее, к чужим порокам, а к своим и подавно, чувствуя себя *présentable au plus haut degré*. «*Très présentable!*»[34] — было у него высшей аттестацией нового лица.

Я сказал, что нового, живого в свое дело он не вносил: виноват. Он задумал ввести кое-что новое — именно прекратить «нештатные» доходы или поборы, о которых не мог не знать подробно. *Excusez du peu!*[35] Он уже не раз проговаривался об этом в обществе и наводил на коренных губернских служаков пугливое недоумение. Те стали оглядываться и шептаться между собою.

Мало-помалу замысел этот стал проявляться у него и на деле, пока еще тем, что он двух-трех «оглашенных» и частью уличенных в мелких поборах подчиненных призывал к себе и пригрозил им судом. Все встрепенулись.

К исполнению этого своего замысла он

вздумал привлечь... меня!! Я у него, в качестве знакомого, до наступления осеннего сезона почти не бывал, заезжал только изредка, по настоянию Якубова, к губернаторскому подъезду в такие часы, когда Углицкого не было дома.

Все, что я говорю о нем, между прочим и вышеприведенный рассказ о разговоре его со Сланцовым, происходило зимой, когда я у него в доме близко ознакомился с ним и со всем его домашним бытом.

# IX

Я собрался совсем ехать в Петербург и за-  
пасся рекомендательным письмом от  
управляющего удельною конторою — не пом-  
ню теперь, к какому влиятельному члену  
удельного департамента.

Пока я собирался, делал прощальные визи-  
ты, губернатор вдруг прислал просить меня к  
себе. Я поехал. Он любезно встретил (опять не  
подавая руки), повел меня в кабинет и усадил  
рядом с собой на диване.

Он начал с того, что с юношескою болтли-  
востью раскрыл предо мною, в мастерском  
рассказе, хронику служебных «доходов» всех  
и каждого в городе, между прочим и тех, кто  
чуть не ежедневно ездили к нему и принима-  
ли его у себя. Он не пощадил и своего секрета-  
ря, без которого он, как ребенок без няньки,  
не делал ни шагу. Целый день, и часто ночью,  
секретарь этот не отходил от него и чуть ли  
не спал в вицмундире. «Пожалуйте к его пре-  
восходительству», — то и дело звучало в его  
ушах. Чиновников особых поручений, даже  
до мелких канцелярских чинов, он тоже пере-

брал в ярком характеристическом очерке.

«Что же мне-то до этого за дело!» — думал я, слушая. Я знал почти все, что он говорил, да и весь город знал. Стоило только не зажимать ушей. Все находили, что так и должно быть — и не могли понять, отчего губернатор вдруг «взбеленился», откуда это пошло, кто «почал»; теперь сказали бы: по чьей «инициативе» началось.

А по инициативе того же самого секретаря, которого так живо расписал мне губернатор, нужды нет, что они друг без друга, как сиамские близнецы, жить не могли.

— Вот каков персонал моих помощников! — патетически заключил свой рассказ губернатор. Я молчал. — Согласитесь, что знать это и терпеть долее было бы с моей стороны не честно. Я хочу положить этому конец.

— Это ведь значит положить конец самой системе! — робко заметил я, а сам подумал, что он года четыре уже «терпел» это.

— *C'est juste, vous avez parfaitement, mille fois raison!*[36] — подтвердил губернатор.

— Как же это сделать? — продолжал я. —

Если вы удалите этих людей...

— Vous y êtes![37] Их всех прочь! — вставил губернатор.

— ...Тогда надо пригласить других: может быть, те то же станут делать?..

— Вы разве станете это делать? — вдруг спросил губернатор и сам же ответил: — конечно, нет.

— Я?! — с удивлением сказал я, даже встал с места.

— Именно вы! — перебил Углицкий, усаживая меня рукой на диван. — Я остановился на вас. Вы только что кончили курс в университете, готовитесь вступить в службу: чего же лучше, как начать ее в вашем родном городе, живя с своими?.. и т. д.

Он очень искусно развивал передо мной заманчивую картину службы при нем.

— Ваше воспитание, благородство, тон, манеры, знание языков дают вам все права и преимущества... — И пошел, и пошел, — «и свежий-то, и новый-то я человек, и новые взгляды» у меня и проч.

Почем он знал мое «благородство» и мои «взгляды» — бог его ведает! Вероятно, потому,

что я казался ему «présentable». Он искусно воспользовался этими мотивами, чтобы склонить меня.

— Если это и так, как ваше превосходительство говорите, то позвольте напомнить французскую пословицу: «Одна ласточка не делает весны»...

— Вы да я — вот уже две, — живо перебил он, — найдем и еще, и мы перекукуем ночных птиц. Решайтесь? Да?

— Позвольте спросить, на какую должность вам угодно пригласить меня? — спросил я.

— Ба! Разве я еще не скатал? На место секретаря. Вы будете управлять канцелярией...

Я — юноша — едва не пожал плечами от удивления перед легкомыслием этого — чуть не старика.

— Позвольте напомнить, — начал я, помолчав, — что я только что со школьной скамьи и никакими делами не занимался. Я совершенно неопытен. Как я могу управлять группой чиновников, уже служивших, опытных?.. Я мог бы, пожалуй, принять в губернии место учителя в гимназии, какого-нибудь ин-

спектора уездных училищ, что-нибудь в этом роде, а дела губернской администрации мне вовсе незнакомы...

Здесь полился у него ряд доводов, построенных больше на софизмах, шатких предположениях... «Подайте прошение», — заключил он.

— У меня и аттестата еще нет, — отговаривался я. — Из Москвы послано в Петербург и еще не получено утверждение министра. Я не могу поступить на службу...

Он вскочил с места, и я встал.

— Так вот что мы сделаем, — горячо перебил Углицкий, — вы вступите в отправление должности с завтрашнего же дня, а когда получите аттестат, мы вас утвердим с этого числа.

«Эк загорелось! Ужели он все дела решает так проворно?» — думалось мне.

— Позвольте подумать, — защищался я, — посоветоваться с родными... У меня уже письма есть в Петербург от Андрея Михайловича... Я еще не знаю!..

Мне во что бы то ни стало хотелось отделаться от этого неожиданного предложения.

Меня тянуло в Петербург. Родимый город не представлял никакого простора и пищи уму, никакого живого интереса для свежих, молодых сил. Словом, я скучал, а тут вдруг остаться и служить!

— *Faites ça, je vous prie!*[38] — нежно, певучим голосом упрашивал он меня, как балованный ребенок. — Вы до получения аттестата уже привыкнете и будете в делах как дома. Ведь это все пустое! — с презрением заключил он, указывая на грудку бумаг на столе.

Я видел, что мысль заманить меня на службу гвоздем засела у него в голове. «Кто ему вбил этот гвоздь?» — думал я.

— А прежний секретарь, Добышев, разве покидает службу? — спросил я, вспомнив про него.

— Как можно! Нет, он просится чиновником особых поручений при мне — он утомлен работой и часто болеет... Скажу вам откровенно — он и указал мне на вас, чтобы заменить его...

— Он! — сорвалось у меня восклицание удивления.

— Да, он! А что?

— Зачем это нужно ему?

Я задумался.

— C'est un gredin, si vous voulez, mais il est versé dans les affaires.[39] Он и будет вначале помогать, руководить — и... я тоже! Вы поговорите с вашими, и завтра — милости просим на службу, в канцелярию! Да? Теперь до свидания. Кланяйтесь Петру Андреевичу.

Я стал уходить. В дверях показалась губернаторша. Я поклонился.

— Что же вы у нас не бываете? — начальственно строго спросила она. — Я пригласила вас, а вы ни разу не заглянули?

— Я хотел начать мои посещения вместе с Петром Андреевичем, — оправдывался я, — звал его, просил патронировать меня..

— Что же, он все еще боится?

Оба, и муж и жена, рассмеялись.

— Поздравь меня, — сказал он, — j'ai fait une belle acquisition.[40] И. А. поступает с завтрашнего дня ко мне на службу и будет, *bongré-malgré*[41] нашим ежедневным гостем.

— Так это состоялось? вы согласны? — с живостью спросила она.

— Позвольте... Это еще не решено, надо по-

думать... — защищался я, пятясь к дверям и раскланиваясь.

Недаром я отнекивался от губернаторского предложения. Потом до меня доходили слухи, что секретарь посоветовал определить на его место меня не как «нового, свежего, бескорыстного» и т. д. или если и так, то еще более всего как неопытного молодого человека, именем которого он мог бы продолжать вести дела по губернии, по-своему, как он вел их прежде, то есть плавать под чужим флагом в тех же водах... «Шипы» (предупреждали меня по секрету) доставались бы мне, а «розы» падали бы на его голову. Я счел это за губернскую сплетню и не обратил на нее внимания. Если же в самом деле таковы были его сокровенные замыслы на мой счет, то они ему не удались. Судьба решила иначе.

## Х

**А**lea jacta est![42] Я на другой день вступил, если не de jure,[43] то de facto,[44] на службу в губернаторскую канцелярию. Родным моим очень улыбалось удержатъ меня дома: мать мечтала со временем женить меня и нянчить внучат; сестры приобретали своего домашнего кавалера для вечеров; слуги радовались сами не знали чему. Особенно няня утешалась, что я не пропаду из глаз навсегда, и смотрела на меня кротко и любовно.

— Завтра тебе надо явиться к губернатору уже как к начальнику: надень белый галстук, — сказал мне Якубов.

Я белый галстук не надел, зато напустил на лицо некоторую важность и явился прямо в канцелярию. Предместник мой, Добышев, был уже там. Он представил мне всех чиновников по очереди.

— Это столоначальник Трусецкий, — говорил он, указывая на господина с большими черными бакенбардами, в синем поношенном сюртуке («Поляк, присланный сюда из западных губерний»,[45] — шепнул при

этом). — Это Милианович, сынок Марфы Яковлевны, знаете?

— Как не знать! Мы знакомы. — Я поклонился, но руки, подражая губернатору, не подал: нельзя, подчиненный!

И так далее. Добышев перезнакомил меня со всеми. Чиновники почтительно щелкали нога об ногу и смотрели с любопытством на меня, и я на них, не зная, что им сказать.

— А это сторож Чубук, — со смехом заключил Добышев, указывая на прямого, как палка, солдата у дверей, с полинявшими галунами.

— Здравия желаю, ваше высокородие! — провозгласил тот.

— Вот и дела у нас здесь! — продолжал Добышев, отворяя старый шкаф с еле державшеюся дверью: — а эти, что на столе, теперь рассматриваются. Вот бумаги, заготовленные к подписанию его превосходительства. А это новые входящие. Покажите, Иван Семенович, входящий реестр! Вот вам и ключ от стола!

Добышев отдал мне ключ. «Тут, в столе, есть две секретные бумаги с губернаторской отметкой. Велено исполнить их поскорее», —

прибавил он.

— То есть как это исполнить бумаги? — наивно спросил я, вдруг потеряв всякую важность.

— Написать по губернаторской резолюции исполнение.

Тут Добышева позвали к губернатору. Я сел за стол.

«Написать исполнение!» — думал я, стараюсь вникнуть в смысл этой новой для меня фразы.

Вошел Чубук.

— Солдат пришел к вашему высокородию, да еще женщина дожидается давно, — доложил он мне.

Я вышел в прихожую. «Что тебе надо?» — спрашиваю солдатика.

— Егорья потерял, ваше высокородие, — говорит.

— Какого Егорья?

— Хрест, значит, потерял.

Я стал втупик.

— Поищи хорошенько, — сказал я.

— Иди в полицию, а ты!.. Подай прежде объявление! Что лезешь прямо сюда! — раз-

дался из другой комнаты голос чиновника.

Солдатик посмотрел на меня, я на него.

— Слышь, в полицию ступай! — сказал Чубук.

Он помялся, помялся, стукнул ногой, сделал направо кругом и ушел. Баба жаловалась, что сыну не выходит «освобождение» от «некрутчины». «Ослобонить ослобонили, потому — негодный, спина кривая, а бумаги из правления не дают и сына не отпускают, а она проелась, жимши в городе...» и т. д.

— Пожалуйте к его превосходительству! — раздалось сзади меня.

Я попросил — или, виноват, «поручил» одному из чиновников разобрать просителей и пошел наверх. Тем и заключился первый мой дебют на службе.

— *C'est charmant!*[46] Это любезно, что послушались! — встретил меня губернатор, подавая руки. — Присядьте. Не хотите ли позавтракать?

Перед ним стоял поднос с закусками: икрой, селедкой, дымилась котлетка. Я отговаривался, что завтракал, да и предложение, казалось мне, сделано было таким голосом, что-

бы его не принять.

Я стал каждый день являться в канцелярию — и сделался одним из колес губернской административной машины, да еще каким важным! Недели через две мне дома со смехом передали, что наш повар даже стращал моим именем какого-то несговорчивого торговца мясом и дичью.

Но главным, хотя и негласным воротилой в делах остался все-таки Добышев А я закупил побольше перчаток, белых галстуков и выписал еще пару платья из Москвы. Это оказалось самым важным делом в моей службе.

Мои утренние, надо было бы сказать — деловые часы, если бы было дело, оказались довольно приятными. Летнее сонное безделье кончилось: я тогда не знал, куда оно уходило. Летом, бывало, я стрелял на волжских отмелях скворцов, трясогузок, излазил по всем обрывам крутого нагорного берега, купался, отправлялся со своими целым домом на зеленый остров, пить, между сеном и осокой, чай, иногда обедать, удить рыбу.

И за всем этим времени оставалось пропасть Оно уходило больше на чтение. Я пере-

знакомился со всеми, у кого были библиотеки, за неимением публичной, читал все, что выписывал Якубов, — и все-таки оставался досуг, тратившийся на затрапезные и чайные беседы со своими, на прогулки «для воздуха» с крестным и на блаженную дремоту, иногда среди белого дня.

Зимой все это безделье кончилось: у меня просто нехватало времени. Утром едешь в канцелярию, прочитаешь присланную сверху, то есть от губернатора, почту, потом «исполняешь» бумаги «к подписанию его превосходительства». С этими последними, часов в двенадцать, являешься к нему наверх, в кабинет.

Как весело бывало там наверху! Идучи по лестнице, уже слышишь какое-нибудь блестящее рондо Герца или сонату Моцарта, разрываемые хорошенькой, грациозной Софьей Львовной. Она ласково, немного краснея, ответит на поклон веселой улыбкой, с оттенком легкой иронии, которая, как скрытая булавка, нет-нет, да и кольнет. Дитя и вместе не дитя: прелесть девушка! Она мило краснела. Румянец вспыхнет и в ту ж секунду спрячется, и

опять покажется, глазки блеснут и прикроются ресницами.

Я большею частью угадывал, что у нее на уме, и скажу ей, а она мило вспыхнет и кивнет утвердительно, если угадаю. Иногда скажу какое-нибудь свое наблюдение и рассмешу ее. Покажутся два белых чудесных зубка.

На пути к губернаторскому кабинету она была для меня, как сирена для Улисса. Перекинешься с ней сначала двумя-тремя словами и иногда застоишься, заслушаешься сонаты или просто засмотришься, как она застенчиво краснеет и сверкает веселыми агатовыми глазками.

А тут кругом лес тропических растений, попугай — то свистит, то орет, точно его режут, двигаясь по медной перекладине из стороны в сторону. Там трещат канарейки. Не хочется уйти, а надо. Вон губернатор звонит. Ему поспешно пронесли поднос с завтраком. Секретарь, то есть бывший мой предместник, оканчивает свой доклад.

У него какие-то особые бумаги, которые ко мне не поступали. Случалось мне заставить их на разговоре о постройках, заготовках,

подрядах. Но я в это не вникал вовсе, губернатор — очень мало; вникал один Добышев.

— Что это у вас, бумаги? — спросит, поздоровавшись, Углицкий. — Есть что-нибудь важное? — И, не дождавшись ответа, велит обыкновенно положить на бюро. — Мы уже с Егорьевым (домашним чиновником) разберем: я подпишу и пришлю в канцелярию. А теперь давайте завтракать. Не хотите ли? — прибавит равнодушным, ленивым голосом. Это повторялось ежедневно. Он приглашал постоянно и Добышева и меня, а мы постоянно отказывались. Углицкий садился за завтрак и съедал все дочиста. Ему приносили завтрак на одного. С семьей он редко завтракал: дела, вишь, не позволяли. Но однажды он принудил-таки меня попробовать, а Добышева никак не мог склонить. Тот, застегнутый на все пуговицы вицмундира, так и остался на ногах.

— Что это ты мне принес? — спросил он камердинера, когда тот поставил поднос на стол. — Я велел почку, а это *ris de veau*! Как *ris de veau* по-русски? — спросил он меня. — Я не знал. — Как *ris de veau* по-русски? — спросил

он Добышева.

— Не знаю, ваше превосходительство, — я ведь по-французски не говорю, — отвечал тот.

— Поди спроси повара, как это блюдо называется и отчего он мне не приготовил почку, *sauce madère*?[47] Я с утра заказал. Не угодно ли? — прибавил он, подвигая поднос мне и Добышеву.

Этот отказался из почтения, а я из почтения же попробовал.

— Что, вкусно?

— Очень, — сказал я. — У нас дома часто готовят это блюдо, только я не знаю, как оно называется.

— И я попробую, — сказал Углицкий, а попробовав, с аппетитом доел остальное. — Недурно, только отчего не почка?

Камердинер воротился и сказал, что это называется «сладкое мясо» из груди тельенка.

— Отчего ж почку не приготовил?

— Он думал, что почку приказывали к столу.

— А? как вам это покажется! — обратился он к нам, — почка к обеду! Кто ест почку за обедом? Вы любите почку? — обратился он ко

мне.

— Да-с... ничего...

— Так приезжайте сегодня обедать.

Я поклонился.

— А теперь вы пройдите туда, к жене, или с Сонечкой поговорите. Выберите ей что-нибудь, пожалуйста, по-русски читать: она любит. А я еще два слова скажу Ивану Ивановичу и потом приду.

Они остались вдвоем, как это часто случается, совещались о чем-то друг с другом, но меня в эти совещания не посвящали, а я не напрашивался.

Яшел туда, на женскую половину. Там было весело. В гостиной сидела Марья Андреевна, принимала визиты и важничала среди губернских дам. Она жила сознанием, что она — первая дама в губернии. Только у нее, кажется, и было утешения. Прочее все, с летами, изменяло ей, начиная с мужа. А если не было визитов и она сама не выезжала, около нее сидела Соня, ласкаясь к матери, как кошечка.

Тут же постоянно присутствовали две барышни, сестры неопределенных лет — не менее двадцати пяти и не более тридцати лет. Наружности у них не было, то есть женской: это были два засохшие цветка. Одна круглолицая, с наивными, цвета болотной воды, немигающими глазами, с широкой улыбкой. Другая, белокурая, с серыми, прятавшимися под низеньким лбом глазами, с хитреньким, высматривающим взглядом. По фамилии их никто никогда не называл. Губернаторша, и дочь ее, и сам Углицкий звали их Лина и Чу-ча, как сами сестры звали друг друга. Они бы-

ли бедные дворянки-сироты, жили с нуждой, в тесной квартирке, в мезонине маленького деревянного домика, пробавляясь маленькой пенсией за службу отца да некоторыми женскими работами: вышиваньем подушек, вязаньем шарфов, деланием цветов из воску и других ненужных вещей, которые покупались у них знакомыми, ради их положения, для подарков.

Они были старинного дворянского рода: бабка их была из княжеской, впрочем, давно угасшей фамилии. Они любили иногда помянуть об этом, кажется единственном, их преимуществе. Их в некоторых домах принимали, в других смотрели на них небрежно, ради их бедности. Так было до приезда Углицких. Губернаторша приняла их под свое крыло, сначала тоже ради их положения, ради сиротства и памяти о княжеской породе, потом они мало-помалу вошли в штат дома ее превосходительства и умели сделаться необходимыми, собственно Лина, старшая. Они были порядочно воспитаны, то есть умели в дурном переводе с русского говорить французские фразы, прилично сидеть в гостиной и дер-

жать себя за столом. Прежде они прихаживали к обеду, а вечером уходили домой. Потом, когда губернаторша сделала им приличный гардероб, они, что называется, живмя жили у нее и постоянно исполняли ее поручения.

Впрочем, последние возлагались собственно на одну старшую, Лину. Лина было сокращение ее имени Капитолина. Имя младшей сестры «Чуча» переделали из их фамилии Чучины, потому что ее настоящее имя, Аполлинария, сокращению не поддавалось.

Чуча оказалась неспособною ни к каким поручениям, кроме одного — сидеть в гостиной, с вечным вышиваньем в руках какой-то бесконечной тесьмы, не то для звонка, не то для каймы к портъере, «*pour avoir une contenance*», [48] — говорили Углицкие. Ее обязанность была принимать и занимать гостя или гостью, пока губернаторша оканчивала свой туалет или губернатор не выходил еще из кабинета. Пробовала было Углицкая поручать ей другие дела, но ничего из этого не выходило.

Чего, кажется, проще — разлить чай? Когда гостей не было и чай не разносился из бу-

фета лакеями, то пили его в маленькой гостиной у камина, на маленьком столе — и поручили разливать ей.

Вот тут точно домовый тешился над ней. У нее чашки скользили из рук, ложечки летели на пол, поднимался звон, гром. То она нальет чаю в сахарницу; кому вовсе не положит, кому переложит сахар. Ее удалили от этой обязанности.

И другое шло не лучше. Сонечка однажды заболела. Ее уложили в постель и посадили около больной Чучу, когда Углицкой или няни не было в комнате, чтобы она в срок подавала то или другое лекарство и вообще смотрела бы за больной. Тут она чуть не наделала беды. Накапала в рюмку, вместо миндальных капель, какого-то спирта, которым надо было натирать горло. К ее счастью, больной показался противен запах, и она не приняла. Мать пришла в ужас, и сама Чуча струсила. Она прижала ладони к вискам, как всегда делала в критические минуты, заохала и заохала.

Ее удалили за это из комнаты и из дома на две недели, к себе, на «антониеву пищу», как говорил Углицкий. Потом соскучатся. И гости

привыкли видеть ее в уголку гостиной, с вязаньем, тоже спрашивают, почему ее нет? За ней и пошлют. Она явится как ни в чем не бывало, садится на свое место в гостиной и за столом, занимает гостей до прихода губернатора или губернаторши. И как занимает хорошо, прилично, с своей неизменной широкой улыбкой, открытыми настежь глазами, с вечно ласковым взглядом. У нее установилась одна мина навсегда и для всех.

— Здравствуйте! — отчеканит она каждому входящему гостю, всегда с сияющими радостью глазами и с улыбкой. — Прошу садиться, вот здесь, подальше от окна, тут дует. Вчера Иван Иванович посидел тут, потом целый вечер жаловался, что зуб ноет.

Гость или гостья сядет. Она не смигнет с него: так и смотрит, не нужно ли ему чего, лучше всего, не ушел бы он, не соскучился бы.

— Марья Андреевна принимает? Не помещал ли я? — спросит тот.

— Нет, нет: подождите чуточку — она сейчас, сейчас будет! Она теперь в буфете, по хозяйству, повар пришел. Она заказывает, что обедать сегодня... и бранит его... — добавляет

шепотом, все улыбаясь, — сейчас кончит.

— Бранит? За что?

— Вчера столько петрушки в суп навалил, что есть нельзя...

Гость смеется.

— Право. Вы не верите? Вот спросите Со-  
нечку, когда придет: точно мухи в тарелке  
плавают!

Гость опять смеется. И она тоже. Ей весело,  
что она умеет занимать.

— Это вы на серой лошади приехали? Ка-  
кая большая! — продолжает она, глядя в ок-  
но. — Ах, кажется, Наталья Николаевна подъ-  
ехала: вон ее карета, вы видите?

— Да, вижу, — говорит гость.

— Надо встретить ее в зале! — И бежит с  
сияющим лицом встречать гостью, как род-  
ную мать. Та, слегка кивнув ей, заговаривает  
с гостем, а она удаляется в свой угол и берет  
вышивание.

— Что Марья Андреевна: занята? — спра-  
шивает гостя.

— С поваром бранится: сейчас придет, —  
говорит гость.

— Вы почему знаете?

— Да вот кто сказывал! — Он указывает на Чучу. Оба смеются, и Чуча тоже.

Входит Марья Андреевна. «Здравствуйте, здравствуйте!» и т. д.

— Мы мешаем вам: вы по хозяйству... — говорит гостья.

— Кто вам сказывал?

— Чуча говорит, что вы повара бранили... Ах, эти повара!

Марья Андреевна смотрит на них вопросительно.

— Петрушки много в суп наклал! — шутит гость.

Лицо Углицкой свирепеет.

— Подите к Сонечке в комнату! — резко командует она Чуче.

Та, бросив вышиванье, быстро уходит, приложив дорогой ладони к вискам. «Ах, ах, что это я наделала!» — и рассказывает Сонечке. Та вечером расскажет мне — и мы в уголку весело хихикаем. Бедная Чуча!

Еще ее немного вышколили, стараясь преподать несколько тем для занятия гостей, а то она прежде доходила до геркулесовых столов в деле нескромности. Однажды какая-то

значительная губернская дама застала ее в сильном, непривычном для нее волнении. На вопрос гостьи, дома ли Марья Андреевна, принимает ли, Чуча, после обычной, неизменной широкой улыбки и вопросов о здоровье, о том, прошел ли «родимчик» у маленькой и т. д., на вопрос гостьи, что делают их превосходительства, внезапно приложила ладони к вискам и заахала.

— Ах, ах, не знаю!.. Что у нас делается — ах, что делается...

— Что, что такое? — удерживая дыхание, спрашивала любопытная гостья.

— Ах, ах, не могу... не спрашивайте!

— Да говорите, милая, я никому не скажу, никому... никому...

Чуча, чтоб занять гостью, боясь, что она, пожалуй, рассердится и уедет, начала рассказывать жестокую семейную сцену между Углицким и женой. «Лев Михайлович так рассердились, так кричали... ужас, ужас!.. — шепчет она. — У Марьи Андреевны сделалась истерика... Лев Михайлович кричали, что лучше застрелиться... Сонечка заперлась у себя в комнате, плакала... ах!..»

— Да из-за чего, из-за чего? Говорите скорей! — настаивала гостья.

— Еще вчера... — начала было Чуча и прикусила язык. В дверях явилась сама Марья Андреевна. Она из-за портьеры слышала кое-что из разговора и поспешила помешать продолжению. «Идите домой и глаз больше сюда не показывайте!» — прошипела она змеиным шепотом.

Чуча отчаянно приложила ладони к вискам и стремглав бросилась домой. «Ах, ах, — твердила она дорогой, — что я наделала!»

Ее воротили из ссылки не прежде как через месяц, дав ей нагоняй и подробную инструкцию, как и чем занимать гостей.

Когда никого не было около Углицкой, Чуча должна была сидеть в комнате около нее. Губернаторша зевнет, и она зевнет, подставит скамеечку.

— Почитайте, Чуча, вон из той книги, что в спальне. — Чуча почитает, но и тут перепутает слова, не там делает ударения, где надо. «Однажды (мне рассказывала Софья Львовна) тамап попросила ее почитать путешествие какого-то иеромонаха по святым местам. Ар-

хиерей прислал. Она и читает в одной главе: «сей ядовитый подлец...» Я из своей комнаты слышу голос тама: «Ах, какая гадость! Какие выражения! Вы, Чуча, должны были пропустить. Сонечка, послушай, какая гадость!» Я посмотрела в книгу, а там сказано: «сей ядовитый ползец»: это говорилось про скорпиона».

Чуча исполняла какие-нибудь несложные поручения: сказать что-нибудь горничной, принести из другой комнаты ту или другую вещь, пойти в кабинет к Углицкому, передать что-нибудь или просто посмотреть, кто там у него. Если же пошлют ее, например, в лавку, да дадут два-три поручения, купить то, отрезать аршин такой-то материи, заехать к портнихе и т. п., она наполовину перепутает, наполовину забудет.

Впрочем, с ней, кроме этих временных ссылок домой «на антониеву пищу», обходились ласково, гуманно и шутили над ней весело, не оскорбляя ее. И прислуга обращалась к ней, правда, без особой услужливости, но учтиво. Углицкий, если не для чего другого, то ради хорошего тона, не допустил бы диких

нравов в доме.

Но он подшучивал над ней беспрестанно и смешил на ее счет других, но так безобидно, что та первая отвечала на его шутки своей широкой улыбкой. Только однажды она как будто сконфузилась, когда Углицкий спросил меня при ней: «Вам Чуча ничего не рассказывала о просвирке».

— Нет, о какой просвирке?

— Расскажите ему, Чуча...

— Ах, ах, Лев Михайлович!.. — заахала Чуча, приложив ладони к вискам, и поспешила спрятаться в угол гостиной, к камину, за экран. Марья Андреевна с насмешливой улыбкой смотрела на нее. Софья Львовна тоже покраснела от удовольствия. В это время Углицкого позвали в кабинет. Приехал гость. Губернаторша ушла одеваться и позвала Чучу с собой. Мы остались с Сонечкой.

— Какая это просвирка? — спросил я, — расскажите, Софья Львовна.

Дело вот в чем. Губернаторше за обедней в соборе подносилась просвира, которую она передавала в руки Лине или Чуче, обычно сопровождавшим ее в церковь. Эти просвирки

приносились домой и благоговейно употреблялись на другой день, натоцак. Иногда же отдавались по дороге какой-нибудь бедной женщине или старику, ребенку, на кого укажет губернаторша, кто ей казался жалок, голоден. Однажды в дождливую погоду, садясь на паперти с дочерью в карету, Углицкая передала просвирку, за отсутствием Лины, Чуче, чтобы она, по дороге пешком домой, отдала просвиру какому-нибудь нищему или нищей да спросила бы прежде, не ели ли они что-нибудь утром, так как просвирка освященная.

— Отдала самому бедному! — хвасталась, сияющими глазами, Чуча, пришедши домой, за завтраком. «Ничего, говорит, со вчерашнего дня не ел: вот, говорит, только на копейчку луку купил, хотел было поесть...» У него из-за пазухи и лук торчит... Я и отдала... «Смотри же, говорю, прежде вот это скушай: это благословенная просвирка!..» Как он благодарил! «Спасибо, говорит, спасибо...», кланяется до земли, даже ермолку снял...

— Какую ермолку?

— Он татарин, — вразумила Чуча.

— Татарину освященную просвирку! — Губернаторша всплеснула руками, губернатор откатился с хохотом от стола; веселее всех было Софье Львовне. И теперь, рассказывая мне, она смеялась до слез.

— Матан зазвонила во все сонетки, позвали людей, разослали искать татарина по окрестным улицам...

— А Чуча что? Вот так — ладони к вискам: ах, ах! — Я представил, как она делает.

Софья Львовна досказала, что татарина нашли и привели. Он успел съесть только верхнюю, то есть освященную, половину и закусывал луком. Набожная губернаторша ужаснулась, хотела ехать к архиерею, спросить, что делать: не надо ли окрестить татарина и прочее. Но губернатор отпустил его и целую неделю тешил гостей этим анекдотом. Он стал еще ласковее и шутливее с Чучей. Но Марья Львовна приняла это серьезно и осудила Чучу на трехдневную ссылку домой.

Чуча была со мной любезна, стараясь и меня занимать, когда никого не было в гостиной, нужды нет, что я был уже свой в доме.

— Вы довольны, что здесь остались, а не

уехали в Петербург: вам весело? — сладко спрашивала она меня.

— Да, я доволен: мне очень весело.

— Когда же вам бывает весело у нас?

— Да вот теперь, с вами.

У нее засияли глаза.

— В самом деле! Вы это взаправду говорите? Не шутя?

— Нет.

— А отчего ж смеетесь? О, вы насмешник, я знаю.

— Отчего же вы знаете?

— Да уж знаю: кто из столицы заедет сюда — все такие насмешники! Вот и новый прокурор — тоже такой насмешник: все смеется! Вы и с Сонечкой все смеетесь, шутите надо мной: я уж знаю, знаю... А мы вот так вас очень любим! — прибавила, помолчав.

— Кто это «мы»?

— Да все: Марья Андреевна, Лев Михайлович — и Сонечка тоже... все рады, когда вы приедете... Всегда об вас говорят...

— Что же говорят?

— Лев Михайлович вчера еще рассказывал Владимиру Петровичу... он недавно из дерев-

ни... вы знаете?..

— Нет, не знаю... Какой это Владимир Петрович?

— Он дороги да мосты строит, инженерный полковник. Его фамилия Алтаев... Вы видели его... Пузан такой...

Я засмеялся. «Как?»

Она сконфузилась. «Толстый такой!» — поправилась она.

— Так что же Лев Михайлович говорил про меня?

— Он сказал про вас: «Il est présentable, très présentable», [49] три раза сказал. А Марья Андреевна говорит: «Только дикарь, говорит, когда есть гости, тихонько уйдет. Надо, говорит, его вышколить: вот начнутся собрания — Со-нечке выезжать еще нельзя, так он будет мо-им кавалером, в собрании... когда не будет другого...»

Я засмеялся.

— Право! Вы не верите?

— Я спрошу у Марьи Андреевны, правда ли, что она мне назначает роль подставного кавалера? — шутил я.

— Что вы, что вы: я не сказала «подставно-

го»! Ах, как это можно!

— Выходит так: если не достанет кавалера, так меня! Марья Андреевна разъяснит, как она сказала...

Она прижала ладони к вискам: «Ах, ах, что это я наделала, зачем сказала вам? Ах, голубчик, не говорите Марье Андреевне... ради бога! меня отошлют домой...»

Я успокоил ее, но пересказал Софье Львовне, и мы посмеялись.

## XII

Другая сестра, Лина, была совсем противоположного характера. Она была подвижная, живая, как ртуть, в постоянных разъездах по городу, в суете, в хлопотах. В гостиной у Углицких она появлялась редко, обедала у них, когда не было гостей. Зато с раннего утра она присутствовала в спальне и будуаре Марьи Андреевны. Когда они были вдвоем, к ним не допускалась ни Чуча, ни горничная. Даже Соня входила только поздороваться и уходила. Без нее губернаторша так же не могла обойтись, как муж ее без Добышева.

Уклончивая, ласковая до льстивости, всюду втиравшаяся, у всех что-нибудь выпрашивавшая, она знала все, что делается в каждом доме, начиная от крупных помещиков, председателей до купцов и мещан. Сведения ее были до крайности разнообразны. Она знала, например, кто какой куш получил и за какое дело и куда этот куш был истрачен. Знала, за что произошла размолвка между мужем и женой и почему гувернантка перешла на другое место. Первая узнавала о затеваемомся

сватовстве. Прежде полиции узнает о какой-нибудь покраже, о том, кто собирается у такого-то или такой-то в гостях, что говорят, у кого что подают за столом — словом, газета.

Все это с живыми подробностями передавалось Марье Андреевне по секрету. У губернаторши в руках таким образом были нити всей губернской политики, и она иногда сама пользовалась этими сведениями, даже передавала кое-что мужу для его служебных соображений и иногда озадачивала кого-нибудь бесцеремонным намеком на секретное семейное событие, никогда не обнаруживая источника.

Лина была в обхождении покорная, умевшая принимать какой-то фальшиво-застенчивый, даже робкий вид. А услужлива как: до приторности. Марья Андреевна не успеет пожелать, она уже угадает и бежит исполнить ее желание, прежде нежели слуга или горничная пошевелятся. «Позвольте мне, я сейчас... Дайте я сделаю, принесу, достану...» — беспрестанно слышится ее пискливый голос. Губернатор ищет чего-то около себя глазами — а она уже несет забытый им в кабинете

платок. Губернаторша намекает, что она видела в окне какого-то магазина вещь, да забыла где: через полчаса Лина уже говорит ей, где.

Она отлично, до тонкости, исполняла поручения Углицкой, как бы они сложны ни были, по части женского туалета. Марья Андреевна пошлет ее по магазинам, и та, зная ее вкус, прихоти, капризы, превзойдет все ее ожидания. Благодаря ей никогда ни одной самой богатой губернской львице, не удавалось прежде губернаторши выписать из Москвы что-нибудь новое. Она под рукой умела сбывать выгодно надеванные губернаторшины, но еще свежие и нарядные для губернских и уездных барынь платья. Она знала, в каких домах водились старинные кружева, до которых охотница была Марья Андреевна, и умела сходно выторговать их. Без нее Углицкая не примерит не только платья, шляпки, даже ботинок. Она решала, какой цвет идет или не идет, что лучше к лицу ей или Сонечке.

И все это делала с наслаждением, проворно, как будто все ее счастье заключалось в том, чтобы угодить. А ее счастье, между про-

чим, заключалось и в том, что когда заметили в городе, каким фавором она пользовалась у губернаторши, с ней перестали обращаться небрежно. Кроме того, она пополнила свой гардероб, запаслась на многие годы, чуть не до старости, бельем, даже двумя лисьими мехами. На те платья губернаторши, которые ей нравились, она не находила покупательниц, и платья дарились ей.

Сестру свою она втайне презирала, но скрывала это, чтобы и другие в губернаторском доме не заразились тем же, не охладели к ней и не свалили ее на ее плечи. Презирала она сестру за ее абсолютную ненужность: за то, что из нее никакой пользы нельзя извлечь, что она висит у нее камнем на шее. Она, в припадках желчи, обзывала ее «немогучкой». «Без нее, без этой «немогучки», — проговаривалась она по секрету, — она, Лина, давно была бы замужем. А как посмотрят нас вместе, послушают ее, эту Чучу, — все прочь идут: думают, что и я такая же беспомощная и неумелая и буду в тягость семье. А у меня золотые руки!»

Она еще и теперь, когда я видел ее, сказыв-

вали мне, не потеряла надежды на замужество, хотя все другие давно потеряли ее. Она сама никого не любила: ни губернаторши, ни ее дочери, никого в городе; не было у нее ни птички, ни собачки, ни цветка на окне — никого и ничего. Углицкого она немного боялась: она все подозревала, что, заговаривая с ней и глядя ей зорко в глаза, он будто искал в ней чего-то, к чему прицепиться, что-нибудь заметить в ней, обнаружить, поднять на смех, — и уклонялась от разговора с ним, отделяясь от его шуток визгливым смехом.

Она была некрасива: глаза, смотрящие исподлобья, нависший над ними лоб и немного выдавшийся подбородок сообщали ей вид молодой старушонки. Увертливая, скользкая, как ящерица, она все торопилась, бежала, в руках у нее всегда было какое-нибудь дело, ей все было некогда. Когда ее остановят на дороге, она торопливо отвечает, не глядя никому прямо в глаза, в противоположность сестре, глядевшей на всех немигающими глазами. Нельзя понять, на чем основывались ее надежды найти мужа. Разве на том, что у нее были «золотые руки».

# XIII

Зимний сезон был в полном разгаре. Город наполнился приезжими из уездов. Начались балы в собрании, у губернатора, у дворян, вечеринки почти во всех семейных домах. Я, как и все тогдашние молодые люди, катался как сыр в масле — с бала на бал, с вечера на вечер. Как я ни увертывался, но мне не раз приходилось играть роль, в которую прочила меня губернаторша. Как я был подставной секретарь у ее мужа, так если не был, то числился подставным ее кавалером. Танцевать с ней мне случалось очень редко: все наперерыв старались ангажировать ее до бала. Мне доставалась эта честь иногда на вечерах у нее самой, когда, уступая арену гостям, она сама оставалась без кавалера.

Я чувствовал, что стал вращаться в губернскую почву. Меня тянуло самого то в тот, то в другой дом, где было поживее, повеселее, где меня больше ласкали. Но над всем этим губернским людом царила пустота и праздность. Искры интеллектуальной жизни нигде не горело, не было ни одного кружка, кото-

рый бы интересовался каким-нибудь общественным, ученым, эстетическим вопросом.

Местные интересы сосредоточивались на выборах, этих потешных карикатурах на выборное начало. Дело было вовсе не в выборах, а в обедах, в танцах, в картах.

Оторванный от занятий университетской жизни — я читал в одиночку, сплошь, что попадалось под руку, и не с кем было даже делиться впечатлениями и мнениями о прочитанном. В городе ни библиотеки, ни театра. Приходилось плыть по течению местной жизни. В карты я не играл и не обнаруживал склонности к ним: за это многие «солидные» люди почти презирали меня. Но зато я, как все молодые, развлекался на балах кадрилиным ухаживаньем, с робкими комплиментами, за губернскими девицами или «барышнями», как их тогда называли. И все это под строгим контролем маменек или тетешек, которые, пуще всякой полиции, с материнским расчетом, следили за каждым взглядом и движением танцующих пар. Протанцуй, бывало, с какой-нибудь «барышней», которая приглянется, мазурку на двух вечерах

сряду, начнешь заезжать в дом — губернаторша уже посматривает насмешливо.

— Вам нравится Лиза Р—вая? — бесцеремонно, по-начальнически спросит.

— Да, она хорошенькая.

— А еще что?

— Еще?.. умна, любезна, держит себя просто...

— Прибавьте еще, не скупитесь... — И смеется. Чуча смеется во всю ширину своих больших щек. Лина всегда уползет из комнаты, если разговор коснется при ней. Вести шли через нее. И Софья Львовна лукаво посматривает на меня мельком, с затаенной булавкой иронии в улыбке, и очень мило краснеет. Я оглядываюсь во все стороны. Войдет губернатор.

— Правда ли, что вы влюблены в Р—ую? — хватит вдруг при всех.

— Я! помилуйте!

— Уж признайтесь лучше! — шутит губернаторша.

И три дня город говорит, что я влюблен в Р—ую. И дома пытаются меня, шутят надомной. Мать моя принимает это серьезно, шо-

потом предупреждает, чтобы я остерегался ухаживать за красавицей, что мать у нее — ехидная, «и притом гордая, прочит дочь за какого-нибудь графа или князя, за богача и за тебя не отдаст».

— Вон куда пошло! Да разве я жених кому бы ни было! — Я готов был, как Чуча, приложить ладони к вискам и бежать к себе вверх, на «вышку», прятаться за книгу.

Это повторялось раза три в зиму, и я не знал, как бы мне выбраться на свободу. Но вот зимний сезон кончился, прошел и великий пост. Из города стали разъезжаться, и к празднику оставались почти одни только служащие, купцы и другие постоянные городские жители. Я с тоской, чуть не с ужасом, ждал наступления лета и, наконец, стал намекать губернатору, что мне нужно бы съездить в Москву, за аттестатом, и кстати повидаться с братом и воротиться вместе с ним. Губернатор удерживал, говорил, что хотел сам проситься в отпуск, обещал взять меня с собой. Добышев настаивал, чтобы я поскорее подал прошение и выписал из университета аттестат. Я медлил, и слава богу. Ни прошения, ни

аттестата не понадобилось.

Я продолжал свою службу, ездил в канцелярию, «исполнял», уже без руководства Добышева, текущие бумаги, носил их к подписанию его превосходительству, а часа в три возвращался домой, к обеду.

Однажды, поднимаясь по обыкновению около двенадцати часов с заготовленными бумагами на лестницу, я узнал, что у губернатора уже с одиннадцати часов сидит гость, помещик Ростин, тот самый друг Якубова, о котором я говорил выше. Он мне коротко знаком: еще недавно у него, в близкой к городу деревне, на масленице, был трехдневный праздник, на котором я отплясал себе ноги. Я без церемоний вошел с бумагами прямо в кабинет.

Губернатор и помещик сидели в отдаленном углу и о чем-то с жаром говорили. Увидя меня, Углицкий быстро, скороговоркой сказал:

— После, после! Положите бумаги и пройдите к Марье Андреевне или в канцелярию.

Я успел заметить, что он был сильно встревожен, на нем лица не было. Ростин тоже был

очень серьезен и, повидимому, что-то сообщал по секрету. Ростин наскоро поздоровался со мной. Углицкий с нетерпением ждал, чтобы я ушел. «Притворите, пожалуйста, за собой дверь и скажите, чтобы никого не принимали!» — попросил он меня. Я передал человеку его приказание и пошел в гостиную.

В зале никого не было. В гостиной сидела Чуча.

— Здравствуйте! — сказала она, улыбнулась на минуту и, обдернув сзади юбку, вильнула талией и турнюррой, как она иногда делала для грации.

— Вы от Льва Михайловича теперь? — вдруг серьезно, даже с беспокойством спросила она.

— Да, от него: а что?

— Что там делается?

— Там сидит Егор Степанович.

— Да, я знаю: я его видела. А еще?

— Еще — никого нет: а вам нужно кого-нибудь?

— Нет, нет (она замотала головой), мне не нужно! Марья Андреевна посылала меня к нему: я отворила дверь, а Лев Михайлович

так взглянули на меня, так взглянули... ах! — Она приложила ладони к вискам. — И махнула рукой — вот так (она махнула), чтобы я ушла.

— Потом что?

— Ничего. Марья Андреевна думала, что я перепутала что-нибудь, и послала Сонечку посмотреть: он и ей махнул рукой. «Поди, говорит, к себе и скажи, чтобы нам не мешали».

Услышав мой голос, вошла Софья Львовна, задумчивая, почти печальная.

— Вы были у papà? — спросила она меня.

— Да. Там Ростин сидит: они о чем-то по секрету разговаривают.

— Мамап очень беспокоится.

— А где Марья Андреевна? — спросил я.

— Она послала за Линой и теперь заперлась с ней и что-то шепчут... Я боюсь! — печально прибавила она.

— Ах, и я боюсь! — повторила Чуча.

— Да чего: что такое? — приставал я.

Ответа не было. Мы трое стояли и вопросительно глядели друг на друга.

Скоро мы слышали, что гость уходит из кабинета; губернатор проводил его до прием-

ной и вошел к нам.

— Где Марья Андреевна? — спросил он то-ропливо и, не дождавшись ответа, пошел к ней, а меня попросил итти в канцелярию и позвать к нему Добышева.

Я передал Добышеву приглашение и ожидал в канцелярии его возвращения. Но в три часа он не сходил, и я уехал домой.

— Ну, что? — с тревогой спросил меня крестный. — Правда это?

— Что правда?

— Губернатор уволен?

Я остолбенел. «Я ничего не знаю, не слышал, но похоже на правду...» Я рассказал ему о посещении Ростина, о смущении Углицкого и всех в доме.

Якубов рассказал мне, что Ростин заезжал к нему и показывал письмо из Петербурга, с известием, что губернатор причисляется к министерству, и прибавил, что теперь, вероятно, весь город знает о том.

## XIV

Известие подтвердилось. На другой день я застал живые толки в канцелярии. Чиновники не сидели на своих местах, а собирались кучками и шептались. Добышев хмуро встретил меня, подтвердив, что действительно известие об увольнении губернатора получено, но указа еще нет.

— Подите вверх, — сказал он, — его превосходительство ждет вас.

Я не знал, как показаться, и зашел прежде на женскую половину. Чуча, завидя меня, хотела улыбнуться, но вместо этого ахнула и приложила ладони сначала к вискам, потом закрыла ими лицо и залилась слезами.

— Что вы? — спросил я с участием, — о чем вы плачете?

— Ах, какое горе! Разве вы не знаете?.. Лев Михайлович... уво... уволен... уезжает... и Со-нечка тоже... — Слезы не дали ей договорить.

Вышла Софья Львовна, тоже со следами слез. На мой вопрос, правда ли это, она грустно шепнула: «Да... кажется... Мы... мы... уедем... Прощайте!..» И отвернулась.

— Как «прощайте»! Я не останусь здесь, я поеду вслед за вами! — живо перебил я. — Я давно рвусь отсюда.

— Да? Мерсі... Я рада, — тихо сказала она. — Подите теперь к папá, поговорите с ним, успокойте его как-нибудь. Он ходит в кабинете один, никого не принимает...

Я вошел в кабинет. Лев Михайлыч ходил большими шагами по кабинету. Он обрадовался мне, точно другу.

— Слышали? — почти закричал он, — каковы молодцы! Добились-таки, чего хотели!

— Кто? — тихо спросил я.

— Кому же, как не жандарму! Подслужился! В генералы хочется да в столицу. Нет, этому не бывать, как бог свят, не бывать! — Он даже перекрестился. — Я еще не выжил из ума, язык у меня есть, за словом в карман не полезу. Я там открою глаза на его «ревностную и неусыпную службу»!

— Что за причина? За что? — рискнул я спросить и раскаялся.

Он пролил целое море желчи на жандармов и на всех, кого он подозревал из губернских властей в интриге против него. И надо

отдать ему справедливость, мастерски осветил фигуры своих «врагов».

— Вот вы тянулись все в Петербург, — заключил он, — я не только не удерживаю вас, но настоятельно прошу уехать из этого болота! И чем скорее, тем лучше! Вы здесь даром истратите свежие, молодые силы и ничего не приобретете, никакого опыта — ни в службе, ни в жизни. Вас подведут, насплетничают, очернят, испортят вам репутацию, и карьера ваша пропадет! Женят вас на какой-нибудь Голендухе Поликакиевне, и вы загубите век свой в глуши, среди чиновной челяди, взяточников, тупоумных помещиков...

И пошел и пошел рисовать мне картину, совсем противоположную той, какую рисовал, когда приглашал меня остаться.

— Я знал все это, — сказал я ему, — и не остался бы долго ни в каком случае, тем более теперь, когда вы уезжаете...

Тут он наконец подал мне руку и горячо пожал мою.

— Что же вы намерены делать? — спросил он.

— Ехать вслед за вами...

— А отчего не с нами? — почти нежно спросил он.

— Если это не стеснит вас — и если я вам могу быть чем-нибудь полезен...

Он не дал мне договорить и стремительно обнял меня.

— Благодарю. Не только полезны, вы мне будете необходимы: я многого жду от вашей... дружбы, — нерешительно прибавил он. — Но об этом после. Теперь главное — выбраться из этой лужи! Поедьте. Я вам найду место в любом министерстве. Сдайте дела Добышеву: пусть он управляет... губернией!

Он едко засмеялся и тяжело вздохнул.

— Я подозреваю, — прибавил он, — между нами сказать, и самого Добышева в этой интриге... да! И председателя тоже... Яркина... Архиерей тоже последнее время что-то косился на меня... Вы не заметили, как он бывал сух?..

Я чуть не засмеялся. Еще немного — и он, в числе врагов, назвал бы, пожалуй, Чучу. Перебирая своих врагов, он забыл упомянуть главного: самого себя.

— Приезжайте ко мне уже вечером: мы по-

толкуем. А теперь я еще в ажитации... — И он опять зашагал по кабинету.

Я стал раскланиваться. В это время распахнулась дверь, и в кабинет стремительно вошел Андрей Петрович Прохин, чиновник особых поручений при губернаторе. Он был навеселе, в возбужденном состоянии.

— Что я слышал, ваше превосходительство! Ужели это правда? — начал он, подбегая к губернатору и с пафосом складывая руки на груди. — Ужели это правда? — обратился он и ко мне. — Как: наш добрый, благородный начальник покидает нас! Нет, это невозможно! скажите, что это неправда!

— Вы выздоровели? — вдруг спросил его Углицкий вместо ответа.

— Да-с: проходит, прошло... Как только я услышал убийственную весть, у меня все как рукой сняло... Извольте видеть.

Он вытягивался перед Углицким.

— Да, вижу... — сказал губернатор, глядя на него с некоторым сомнением.

— Побегу, — думал я, — узнаю: может быть, неправда! — твердил Прохин.

— Правда! — заговорил губернатор. — Вы

не ожидали этого? И никто не ожидал, и, надеюсь, никто не желал...

— Никто, клянусь честью, никто! — патетически повторил Прохин. — Вы так много сделали для губернии, для всех нас, для купечества, для мещанства... для народа!.. И не признать, не оценить этого! Позвольте, ваше превосходительство, написать объяснительную подробную записку... У меня уже план в голове готов...

— Да, да, пожалуйста, — уцепился за предложение Углицкий, — я хотел об этом просить, но вы были... нездоровы. Никто, кроме вас, не напишет...

— Правда, ваше превосходительство, правда: никто, никто! И он (указывая на меня) ни за что не напишет. Он пишет чувствительно, но не деловито. Я сегодня же засяду...

— Мы возьмем записку с собой в Петербург, — перебил губернатор. — Ведь вы поедете со мной, не откажетесь?..

— Нет, ваше превосходительство! Отказаться! На край света за вами...

Он поцеловал его в плечо.

— Вот и он едет! — указал губернатор на

меня.

— Вы благородный, благородный человек, человек с сердцем! — с жаром отозвался Прохин и бросился целовать меня.

Уф! меня точно в винную бочку посадили!

Прохин стал изливаться перед губернатором в чувствах или «чувствованиях» преданности, как он выражался, а губернатор живо ухватился за предложение писать записку в Петербург и быстро уверовал в ее неотразимость и силу. Они горячо заговорили. Углицкий кидал мысль за мыслью, оттенял их живыми деталями.

— Слушаю, слушаю! Вот еще надо то включить, другое... — поддакивал Прохин. Оба они говорили в одно время, перебивая друг друга.

Я ушел. «До вечера!» — сказал мне вслед губернатор.

Я ничего не говорил об этом Прохине. Он был полненький, кругленький сорокалетний человек среднего роста, с серо-голубыми навывкате глазами, с одутловатыми от вина щеками, вечно с влажным подбородком и руками, так что после его рукожатия надо было обтирать руку. Впрочем, он был не неприят-

ной наружности и приятный в обращении.

Он служил по особым поручениям, собственно по письменной части. А писать он был великий мастер. Его докладные объяснительные и оправдательные записки были шедеврами. Он был известное перо в губернии. Он воспитал свой стиль сначала в семинарии, потом в Казанском университете, на хриях, периодах, тропах, фигурах, метафорах, свидетельствах от противного, подобиях и прочих тонкостях риторики. Никогда от них не отступал и признавался мне, что если б и захотел, то не мог бы отступить. «Уж очень втянулся, — говорил он. — Когда возьму перо в руку, так первое является у меня — не что писать, а как писать? Ядро мысли вылупляется на другой странице листа, а на первую просится вступление, потом занимает меня изображение о числе посылок» и т. д.

Слог у него был плавный, текучий, приятный. Бывало, вникая в дела, читаешь и зачитываешься этой его деловой литературой. Нигде, что называется, ни сучка, ни задоринки. Так и льется речь, как тихая река. Ни нечаянных оборотов, ни сильных взмахов и ударов

пера, ни поразительных неожиданностей. И какой тонкий, искусный казуист он был! Как он умел подсказанный ему Углицким софизм развести в сладкой воде фигур и тропов.

К сожалению, всеми качествами его пера и приятного характера не часто приходилось пользоваться. Он являлся у губернатора месяца два-три сряду, потом месяца на три пропал, запирался дома и... пил запоем. Когда спросят, что его не видать, губернатор, пожав плечами, скажет, что он «dans les vignes du Seigneur», [50] а другие просто выражались: «запил». Потом отрезвляется и как ни в чем не бывало является, пишет деловые записки, со всеми любезен, ласков, приятен.

Но в пьяном образе бывал свиреп. Из окон своего невысокого деревянного домика, где он жил с своим отцом, престарелым, заштатным священником, показывал прохожим язык, грозил кулаком или плевался. Иногда выходил в сером халате на улицу, в галошах на босу ногу и шел в кабак, если дома не давали пить.

Вот и весь Прохин, бывший мой сослуживец и будущий спутник до Петербурга.

Ко мне он очень благоволил, но слога в моих бумагах не признавал, и весьма основательно, потому что его не было. Не любил он еще одного — зачем я знал иностранные языки, а он нет. Когда мне случилось при нем отвечать губернатору или губернаторше по-французски на их вопросы на этом языке, он на меня дулся. Вообще в нем таилась заноза против всех знавших языки. «Знай я их, эти распретроклятые языки, — проговаривался он за пуншем, среди своих, — из меня бы вышла не та фигура!»

Оставив его с губернатором и сойдя вниз, я сдал все бумаги опять Добышеву и передал ему ключ от шкафа с делами.

— Что так торопитесь: успели бы! — сухо заметил он.

С чиновниками канцелярии я простился дружелюбно, пожав им всем руки в первый и последний раз: они были уже не подчиненные мне. Сторожу Чубуку на его «прощенья просим» — я дал рубль и приехал домой отставным неслужившим чиновником и стал готовиться к скорому отъезду в Петербург.

Я не касаюсь здесь причины увольнения

Углицкого. В губернии его жаловали мужчины, особенно бессемейные, любившие весело пожить, да и все охотно ездили к нему, принимали у себя благодаря его живому, веселому, любезному характеру, его светскости, тону, обходительности. Дамы были от него без ума.

Для дел он не сделал ничего, ни дурного, ни хорошего, как и его предместники. Были, правда, у него порывы, вроде вышеописанного: разогнать немного тьму, прижать взяточничество, заменить казнокрадов порядочными людьми, но он был не Геркулес, чтобы очистить эти авгиевы конюшни. Где ему? У него вдруг загорится порыв, вспыхнет и скоро остынет.

Поводов к его удалению было, вероятно, найдено немало: каких-нибудь мелких чиновничьих придилок по делам. Но была и одна крупная причина, которая восходила до начальства действительно, как я слышал стороной, через жандармов.

Причина эта была посторонняя службе: она не подводила губернатора ни под какой формальный суд и в обществе вызывала толь-

ко снисходительную улыбку и насмешливые толки. Она касалась не дел, а самой личности его, не шла к его сану и положению.

Он был... женолюбив. В «науке страсти нежной» он, как Онегин, должно быть, находил «и муку и отраду».[51] Я еще там, на месте, слышал кое-какие истории о его «любовях», но не придавал слухам тогда значения. В Петербурге уже я частью был сам свидетель, частью по его собственным рассказам мог убедиться, что не только все слышанное о нем на Волге было справедливо, но и в том, как безвозвратно и неисцелимо он был предан этой «науке», то есть страсти нежной, и какой был великий стратег и тактик в ней.

Можно было бы написать несколько томов его любовных историй, вроде мемуаров Казановы,[52] если б все такие истории не были однообразны, до крайности пошлы и не приелись всем до тошноты. Они могут быть занимательны только для самих действующих в них лиц и больше ни для кого.

Если б Углицкий умел писать, он непременно изобразил бы себя с своим обширным гаремом и обогатил бы всеобщую эротиче-

скую историю еще одним многотомным увражем, вроде сочинений маркиза де Сада, Брантома и вышеупомянутого Казановы.

К счастью для него и для читателей, он был слаб в грамоте. Он явился бы в блеске своего фатовства и того «хладнокровного разврата», которым, по свидетельству поэта, «славился» старый век.[53] Углицкий, как и Казанова, его прототип, не годился в Отелло, Ромео, даже в Дон-Жуаны, а прямо в Фобласы.[54] Он не знал никаких нежных чувств, страстных излияний, слез и мук разлуки, ревности — всего, чем красна человеческая любовь. И если иногда прибегал к этому, то единственно как к средству для достижения желаемой, известной и скорой развязки.

А достигнув ее, — искал нового — и так без конца.

Все это стало в провинции выходить наружу. Мужья загораживали от него жен, но он, своею вкрадчивостью, тонкой лестью, потом наружностью и манерами, успевал ловко вести и маскировать свою ловеласовскую политику, проникал в замкнутые круги и имел успех, которым сам же под рукой хвастался.

Однако шило стало прокалывать мешок. Рассказывали, что его домашний чиновник тайком провожал к нему по вечерам одну «барыню, будто бы из порядочного семейства». Потом говорили, что жена одного из его чиновников пользовалась его благосклонностью и что от этого и ей и мужу было хорошо. Наконец говорили (это уже сплетня, должно быть), что жених одной красивой девицы... побил его по секрету, за... чересчур явное и усердное поклонение своей невесте.

Вот это последнее обстоятельство — секретные побои — и послужило будто бы главным мотивом доноса на губернатора и его отозвания. «Скандал, дескать: дурной пример подает!»

Я этому не верил и до сих пор не верю, то есть в причину отозвания. Но вообще в романах Углицкого теперь уже сомневаться не могу: сам видел их потом в Петербурге и за границую. Пером не коснусь ни одного из них по вышесказанной причине. Все они одинаково пошлы, и только в живых рассказах этого Фобласа казались остроумны и веселы. Он прикрывал свои романы лоском хорошего то-

на, наружного приличия, даже галантного рыцарства.

Тот ли, или другой мотив повел к удалению Углицкого, но он вскоре, в мае месяце, оставил губернию, с семейством, еще с Прохиным, и убедительно пригласил ехать вместе и меня. «Веселее ехать вместе!» — прибавил он. Я охотно согласился.

Я простился с родными надолго, а с Якубовым навсегда. Мы крепко обнялись с ним, не предчувствуя оба, что более не увидимся. Я посетил родину ровно через четырнадцать лет, но его уже не застал в живых.

## XV

Если б в начале тридцатых годов от С. до Москвы существовала железная дорога, нам понадобился бы целый отдельный поезд: так много нас выехало из города.

Впереди ехал дормёз с губернатором и его семейством, то есть их собственно было трое: муж с женой и дочь. А затем на полверсты растянулась вереница экипажей с провожатыми обоего пола. Поезд замыкался коляской-тарантасом, где помещались я и Прохин, с лакеем на козлах. А сзади нас — бричка с прислугой: горничной, камердинером, еще лакеем и мальчиком.

Углицкий пересаживался из экипажа в экипаж, отплачивая любезностями за проводы. К Марье Андреевне по очереди садились почетные губернские дамы. В бывшем губернаторском городском экипаже ехала, шептали тогда злые языки, *la favorite en titre*[55] Углицкого, жена его чиновника, да Чуча с Линой.

Чуча была вся распухшая от слез, а Лина, сжав губы, смотрела на все злыми глазами,

особенно на Чучу, и ехидно молчала. Горничная Марья Андреевны рассказывала уже в Москве, что губернаторша не хотела расставаться с Линой, звала ее с собой, но некуда было деть Чучу. Лина злобно жаловалась горничной, что сестра ее заедает ей век, что не будь этой «немогучки», она, Лина, была бы в Петербурге, где, разумеется, оценили бы ее «золотые руки» и она вышла бы замуж.

Кроме Лины и Чучи, все в поезде были крайне веселы, особенно сам Углицкий, нужды нет, что он уезжал в качестве опального. Напротив, он веселился мыслью, что у него в хвосте поезда ехал Прохин, уже с готовой красноречивой, неотразимой оправдательной запиской, прочтя которую, все начальства примут его с распростертыми объятиями, будут гладить по голове, жандарма из провинции прогонят и прочих «врагов» прихлопнут, а ему дадут лучшую губернию на выбор или сделают его сенатором.

Одетый щегольски, в форменном сюртуке, со звездой, он, с такими мечтами, весело оглядывал длинный поезд провожатых, садился то к тем, то к другим дамам, и даже нашел

четверть часа посидеть в карете наедине с favorite en titre и... нежно à la Казанова, с нею проститься.

Это была какая-то увеселительная поездка, вроде тех, судя по описаниям, какие совершались богатыми вельможами екатерининских времен, ездившими из своих имений в столицу. А тут ехал экс-губернатор, с единственными шестью или семью тысячами рублей (ассигнациями), вырученными от продажи мебели, экипажей, лошадей и всего движимого имущества, но с радужными надеждами на будущее. Он шутил, острил, смешил дам и сам смеялся.

Добышева в числе провожатых не было. Он терся уже около нового губернатора. Я забыл сказать, что последний приехал за несколько дней до нашего выезда и вступил в управление губернией. Все подчиненные оставались при нем, и только на данном отъезжающему дворянством завтраке выпили за его здоровье и разошлись.

На одной из станций был заготовлен обед, после которого большая часть провожатых воротилась. Чуча разревелась на прощание

так, что тронула всех. Она положила голову на плечо Софьи Львовны и плакала навзрыд. Лина сердито оторвала ее, толкнула в карету и, пошептав что-то на прощанье губернаторше, сама юркнула в экипаж и сильно захлопнула дверцы.

Еще несколько самых веселых из наших провожатых, близких бессемейных приятелей Углицкого, поехали дальше вперед и в богатом барском селе приготовили, в доме управляющего имением, обильный ужин и ночлег. Углицкому с семейством отведены были лучшие комнаты, а нам, помнится, четверым, постлали постели на полу большой залы. Но Углицкий лег с нами. Прохина, за недостатком места, поместили на ночь в крестьянской избе, до того обильной клопами, что он всю ночь, как рассказывал, только и делал, что высовывался до пояса из окон от боли и бранился на все село. Спать было немислимо. «А мужики, бестии, говорит, знай храпят себе около меня».

Мы же все, то есть Углицкий, гости и я, спали вповалку. Наслушались же мои молодые уши в эту ночь рассказов и анекдотов по-

лупьяной компании! Особенно отличались сам Углицкий и его близкий приятель, Брашин. Один анекдот скабрее и смешнее другого, и один особенно был так нечист и вместе с тем смешон, что с нашим хохотом вдруг раздался хохот камердинера, которому все было слышно в передней. Рассказчики не стеснялись. Анекдоты Углицкого изобиловали и кощунством. Между тем, ложась спать, он снял с груди тонкую металлическую, вершка в два величиной, икону и просил меня положить на столе, рядом со мной, предварительно приложившись к ней.

На другое утро, наконец, мы поехали уже одни, в трех экипажах. Впереди дормёз с Углицким, его женой и дочерью, потом мы с Прохиным в коляске, а сзади бричка с прислугой. Погода была прекрасная, наше расположение духа тоже. Мой спутник, Прохин, совсем оправившийся от своего периодического «недуга», был шутлив, весел, приятен. Он острил над вчерашними проводами, и сам Углицкий тоже. Последний пересаживался из дормёза к нам в коляску и почти все время ехал с нами. Он мастерски изобразил в кари-

катуре прощание и речи, и между прочим, чего я никак не ожидал, сам разболтался о нежном прощанье в карете с «дамой сердца».

— Вам жаль ее? — спросил я с участием.

— Мне! — он засмеялся. — Я смотрю теперь на нее — вот, как на этого барана! — сказал седой фат, указывая на кучку лежавших в тени около дороги баранов.

Прохин зло и остроумно подшучивал, когда, при переезде вброд через речку или через ветхий, сомнительной прочности мост, Углицкий пропускал вперед нас, на случай опасности. Марья Андреевна ехала хмурая и кислая, вздыхая по роли первой дамы в губернии. Софья Львовна успела загореть и очень весело улыбалась мне из окна, когда карета на поворотах оборачивалась к нам боком. На станциях мы урывками менялись с нею несколькими словами, смеялись, если попадалось что смешное. Углицкие просили меня взять на себя роль казначея, платить прогоны, на водку ямщикам и за то, что забирали на станциях, так что мне немного выпадало на долю поболтать с этой милой, острой и веселой девушкой.

Весело, покойно, в трое суток, докатились мы до Москвы. Углицкие остановились у своей старой тетки, на Арбате, а я отправился к товарищу, с которым жил и мой брат. Углицкий предупредил меня, чтобы я дней через пять-шесть наведалься о дне отъезда и был готов. Долее недели он в Москве оставаться не хотел.

Проведя весело, с друзьями и товарищами, несколько дней, я в назначенное утро поехал к Углицкому навеститься, когда мы выезжаем.

— Мы все готовы, — сказал он, — все уложено, завтра хотели выехать, да Андрей Петрович...

— А что с ним? — спросил я.

— Разве вы не знаете? Вот пойдемте.

Он повел меня в маленький деревянный флигель с большим окном, выходящим на улицу. В нем была одна комната, без передней, с печкой, кроватью и тремя соломенными стульями. Мы из переуллка шагнули прямо в комнату.

За маленьким столом в сером халате сидел Прохин, с повязанной около шеи салфеткой, и обедал, то есть старался обедать, но это ему не

удавалось. Мальчик-лакей держал перед ним тарелку с супом. Прохин черпал ложкой из тарелки, подносил ко рту, но руки дрожали, и суп проливался на салфетку и халат.

— Здравствуйте, Андрей Петрович! — сказали мы оба.

Он не обернулся, не посмотрел на нас, продолжая неудачные попытки попасть ложкой в рот.

— Каков? — отчаянно, вслух, сказал мне Углицкий. — Что с ним делать? Я не знаю, как быть!

И я не знал и ничего не сказал, разглядывая Прохина. Глаза у него были мутные, с красноватым блеском, борода небритая, лицо влажное, точно вымазано маслом. Он, не мигая, уставил глаза в окно, на забор и канаву, заросшую крапивой.

— Когда это он успел? — спросил я. — Ведь он оправился совсем перед отъездом!

— Первые три дня он был очень хорош, а потом встретил какого-то приятеля, стал пропадать, а третьего дня вечером его привезли домой без чувств. Ни везти с собой нельзя, ни оставить здесь! — говорил в печальном разду-

мье Углицкий. — Il m'a joué un tour![56] А я думал, что он поможет мне в Петербурге пером! А он — вон что! Между тем к оправдательной записке нужно бы сделать некоторые дополнения... Разве вы поможете... вы не откажетесь?..

— Конечно, нет! — успокоил я его, видя, что он все упование оправдаться возлагал на эту проблематическую записку. — Теперь пока надо решить, что делать с Андреем Петровичем...

— Вот что мы сделаем! — вдруг живо отозвался Углицкий, у которого идеи, намерения вспыхивали внезапно, как искры. — Я отправляю камердинера с бричкой назад; с ними поедет назад и он.

Он указал на Прохина. «Вот и прекрасно: c'est une idée![57] Итак, решено: завтра я отправлю его, а послезавтра выедем и мы...»

При этих словах Прохин медленно повернул голову к нам. Глаза у него блеснули. Он сорвал с шеи салфетку и бросил на пол.

— Да, и «прекрасно»! — обратился он к нам, передразнивая Углицкого. — Вы хотите отправить меня, как куль с поклажей, с ва-

шим лакеем: таковский, дескать! Бросить его, как негодную клячу. «Пусть околевает!» Что же, бросьте, ваше превосходительство...

Мы с Углицким переглянулись друг с другом.

— А знаете ли, что из этого выйдет? — продолжал Прохин. — Вы думаете, я приму ваше предложение, расшаркаюсь, поблагодарю и поеду с вашим холопом назад, домой? Ошибаетесь: я чиновник коронный, царский слуга (он ударил себя кулаком в грудь); состоял при вас как при губернаторе, но лакеем вашим не был, любовных ваших записок по городу не разносил: да! (Углицкий нервно почесал затылок). Вы могли бы взять с собой вашего Егорьева или, пожалуй, Добышева и потом отправить их, как негодный хлам, назад. Пусть они и служили бы вам пером! А я, Прохин, не унижусь до этого никогда! нет, никогда! Что вы оба уставили глаза на меня? — продолжал он. — Я хотел быть полезен вам своим пером, нужды нет, что вы не начальник мой больше. Но вы всегда были добры, ласковы со мной, снисходили к моей слабости... А у меня благодарное, забывчивое сердце — я и поехал с

вами! А теперь что: не нужен, так вон его, как негодную тряпку! Оставить!

Мы слушали этот сказанный хорошим слогом, как из-под его пера вылившийся монолог и ушам не верили. Прохин ли это, который, за минуту перед тем, не мог донести ложку до рта?

— Оставьте меня здесь, оставьте! — продолжал он с пьяным пафосом, — будет «прекрасно»! Знаете, что будет? Вашего лакея, если он осмелится звать меня с собой, я вытолкаю в шею, и не поеду, нет, не поеду! Оставьте меня — «прекрасно будет»! Я уйду в кабак, да, уйду: вот у меня двести рублей здесь, в ящике... Я все их пропью, до копейки, заложу одежду до последних штанов, рубашку пропью — и лягу вон там, в канаве — и околею! «Прекрасно» это будет, по-божески — как вы думаете?

Он опять впал в свое забытье. А мы с Углицким молча, со страхом и недоумением глядели друг на друга. Перед нами разыгрывалась обыкновенная, но трагическая сцена.

— Что делать? — растерянно вполголоса говорил Углицкий в глубоком раздумье, —

как поступить! Ни взять с собой, ни покинуть нельзя — вот положение! — Он скрестил руки на груди

Вдруг Прохин поднялся с места, сделал два неверных шага к Углицкому и грохнулся перед ним на колени.

— Не покидайте меня, не покидайте: я пропаду, как собака! — молил он с катящимися по щекам слезами. — Я знаю, что погибну; я ведь не мужик-пьяница, я сознаю свое положение и все безобразие... Вашего лакея я не постыжусь и не послушаюсь... О, не покидайте меня, возьмите меня с собой!

Мы оба были растроганы. Углицкий закрыл лицо руками.

— Я не покину вас, Андрей Петрович, — сказал он в волнении. — Будь что будет! Я хотел сделать, как вам удобнее...

— Я заслужу, заслужу! — продолжал Прохин, — пером заслужу. Я дополню оправдательную записку, буду жить с вами, пока нужен. А вы хотите дать пачкать мою записку ему (он с гневом указал на меня): да разве он может? Куда ему! Он только — парлефрансе, [58] а писать ему — разве стишки в альбомы

да письма к родителям в именины. Разве он знает дело?.. разве у него есть слог?

Начиналась опять комедия, и мы ушли. Углицкий успокоил Прохина, решив взять его с собой, и сказал, что мы выезжаем на другой день.

## XVI

После веселого, с примесью грусти, завтрака с товарищами я простился с ними и с Москвой. На дворе, где жили Углицкие, я застал обычную дорожную суматоху. Укладывали чемоданы, подушки, мешки, узелки в дормёз и коляску. Бричка с камердинером оставалась. В дормёзе ехал Углицкий с женой, дочерью и горничной и лакеем на козлах. В тарантасе помещались мы с Прохиным и другой лакей, тоже на козлах.

Прохина лакеи вывели и посадили, пока ямщики запрягали лошадей. Его обложили подушками, так что он занимал почти весь экипаж. Мне оставалось небольшое пространство. После прощаний, лобзаний с теткой, сели наконец, и мы тронулись, трясясь по избитой мостовой. У Прохина лицо, как вчера, было бессмысленное. Он смотрел тупым взглядом вперед, ничего не видя, сидел прочно между подушек, как монумент. На мое «здравствуйте» он не отвечал ни слова, даже, кажется, не заметил моего присутствия. Так покатались мы по петербургскому шоссе.

Углицкие были озабочены состоянием, в каком был Прохин, и на каждой станции спрашивали меня, что он делает, что говорит и вообще каков, приходит ли в себя? Я сам смотрел на своего спутника с некоторым сомнением и даже опасением: «А ну, как он... «с безумных глаз» набедокурит что-нибудь?» — думалось мне. Но он промолчал весь этот день. Ночь мы провели на станции, поручив его попечениям обоих лакеев, и на другой день, с рассветом, поехали далее.

Прохин сохранял свои монументальный вид и неподвижную позу бронзового сфинкса, уставив глаза в пространство. Он только беспрестанно вынимал из-под подушки большую табакерку и набивал нос табаком, которым запачкал себе и щеки и небритую бороду. На мои вопросы он ничего не отвечал.

На вторые сутки он стал обнаруживать признаки жизни — и отличился. Взгляд его стал блуждать вокруг себя; наконец он заметил и меня.

— А, и ты тут! — не то грозно, не то насмешливо произнес он, — мой слог едешь поправлять! ха, ха, ха! парлефрансе! Дай табаку!

Я подал ему табакерку. Зловещая живость разыгрывалась в нем все более и более. На вопрос мой, знает ли он меня, кто я такой, он взглянул на меня и едко ответил: «Как не знать тебя, известного пьяницу!»

Я засмеялся. Вот уж, что называется, с больной головы да на здоровую!

— Что смеешься! Дай табаку! — беспрестанно командовал он. Я спешил его удовлетворить, робко прижимаясь в угол и сторонясь от его размахов руками.

Он к вечеру третьего дня совсем рехнулся: кричал, плакал, называл нас разбойниками, говорил, что мы прячем от него письма от отца. Завидев одну бабу, шедшую по дороге с кузовком, он закричал: «Стой, стой!» Ямщик придержал лошадей, а он в одно мгновение выскочил из экипажа — откуда проворство взялось! — перебежал дорогу и выхватил у бабы кузовок из рук, прежде нежели мы с лакеем успели догнать его. Баба не давала, а он отнимал у нее кузов, крича: «Здесь письмо от отца: он просит помощи, его резать хотят!»

Он испустил вопль и залился горькими слезами. Углицкий, я, оба лакея — насилу сла-

дили с ним и усадили в коляску.

Дамы, то есть собственно Марья Андреевна была в ужасе, нюхала соли. Софья Львовна обращала любопытный вопросительный взгляд на меня. Я украдкой прикладывал ладони к вискам, как Чуча; она спешила отвернуться, пряча смех в подушку. Углицкий твердил, что он давно не был в такой «ажитации». Он гнал ямщиков, торопил станционных смотрителей, требуя лошадей, чтобы добраться скорей до Петербурга и сдать Прохина в больницу.

А этот продолжал все чудить, терял сознание. Ехали лесом, попадались навстречу мужики, бабы. «Невольницы, приближайтесь, пойте! — командовал он, — невольники, пляшите! Этот лес вырубить, — говорил дальше, — и засеять табаком... Дай табаку!»

— Кто же вы такой? — рискнул я спросить, подавая табакерку.

— Разве ты не знаешь, презренный раб? — Потом задумался и вдруг спросил меня тихо: — А скажи-ка мне... только правду скажи... кто я такой?

— Разве вы не знаете?

— Ей-богу, не знаю! Ты скажи, чьих я сын

родителей? Откуда и куда еду? И ты сам тоже кто такой? Лицо твое мне что-то знакомо...

Я на все отвечал ему обстоятельно.

— А там кто едет впереди нас?

— Лев Михайлович Углицкий, — сказал я.

— Слышал: имя знакомое...

На каждой остановке я подбегал к экипажу и наскоро сообщал Углицким об этой комедии. Софья Львова опять прятала смех от матери, которая приходила в ужас, и сам Углицкий, как ни был озабочен, не мог удержаться от смеха и ходил взглянуть на эту трагикомедию.

Мы не останавливались ни завтракать, ни обедать и гнали что есть мочи. На одной станции, пока запрягали лошадей, Софья Львовна, шепотом, мило краснея, сказала мне, что ей «кушать хочется». Я вызвал ее на станцию и там опустошил скудный буфет. Она покушала тайком, и я поел с нею, потому что у них в карете все были поглощены страхом и заботами, было не до еды. Все молчали.

Наконец вечером мы доехали до Новгорода и заняли несколько номеров в большой гостинице, Марья Андреевна с дочерью и му-

жем поместились в одном этаже, а мы с Прохиным в другом, в большой комнате, разделенной перегородкой на две половины, с двумя постелями.

Сейчас же по приезде послали за доктором. Углицкий стал было придумывать какую-то небывалую причину болезни, ссылаясь на нервы и прочее, чтобы не выдавать слабости Прохина. Но доктор взглянул на больного, пощупал пульс, приподнял ему пальцем веки и сухо, коротко сказал: «Совсем не то, что вы говорите: это от пьянства! У него *delirium tremens*, [59] и нервы тут ни при чем».

Углицкий, нечего делать, сознался, что Прохин пьет запоем, запил еще в Москве, а дорогой это разыгралось.

— Верно, вдруг перестал пить; вот если бы вы ему постепенно уменьшали порцию водки, этого бы не случилось.

— Что же теперь делать: оставить его здесь? — спрашивал в тоске Углицкий.

— Зачем? Везите дальше; он мало-помалу придет в себя.

Он прописал успокоительное лекарство, которое обманом, под видом водки, застави-

ли выпить Прохина.

Он бушевал всю ночь. Я лег на постель, за перегородкой, и от усталости заснул как убитый. Прохина хотели уложить тоже в постель, но не сладили; он упорно сидел на краю кровати, ходил по комнате, нюхал табак. К нему приставили одного из лакеев, и все улеглось.

Несмотря на крепкий юношеский сон, меня на рассвете разбудили отчаянные вопли Прохина. Я встал и выглянул из-за перегородки. Приставленный человек спал враспяжку на полу мертвым сном, а Прохин, в одной рубашке, стоял у открытого окна на коленях и раздирающим голосом кричал: «Режут, отца моего режут? вон, о!.. о!.. о!..» И начинал рыдать.

В мае ночной темноты на севере не бывает. Это было отчасти ново для меня, не бывшего к северу дальше Москвы; таких светлых ночей я еще не видал. Ночь была совсем белая; стал показываться солнечный луч и золотил крыши домов. Все спало, на улице никакого движения. Только голуби, воробьи и галки раньше всех проснулись и перелетали

с крыши на крышу.

— Духи белые! Духи черные! — орал во все горло Прохин, указывая на перелетавших птиц, — они терзают грудь моего отца! Вон, вон, смотрите, вонзили ножницы в него!..

— Андрей Петрович! — звал я его, — успокойтесь!

— А? что? — обратился он ко мне.

— Узнаете ли вы меня? — спросил я.

— Как не узнать: парлефрансе! — сказал он и опять принялся орать.

Я растолкал лакея и поручил ему смотреть за Прохиным, а сам ушел за перегородку досыпать прерванный сон.

Утром часов в девять меня разбудил Углицкий и сказал, что все готово, что после завтрака мы уезжаем. Прохин спал. Я оделся и пошел пить чай к дамам. Я рассказал им о ночном событии. Марья Андреевна всплеснула руками.

— Что мы будем с ним делать! Боже мой, какое горе!

Я только переглянулся с Софьей Львовной: и нам было не до смеху.

Прохина разбудили, напоили чаем, и мы

поехали. Прохин хранил загадочное молчание. Мне показалось, что он взглянул на меня, как на знакомое лицо. Он сам уже доставал свою табакерку из-под подушки. Станции через две он спросил, нет ли чего закусить. И когда я принес ему бутербродов с телятиной и языком, он поблагодарил меня. После того часа через два он, не оборачиваясь ко мне, вдруг стыдливым шопотом спросил: «Что Лев Михайлыч: он очень недоволен мною? Как я беспокоил Марью Андреевну и Софью Львовну: мне совестно глядеть им в глаза!» Он прятал лицо даже от меня.

— Ничего! — успокаивал я его, обрадованный переменою, — они все действительно беспокоились, но не за себя, а за ваше здоровье...

— Какая я скотина: скажите откровенно — скотина? Вы, я думаю, смеялись надо мной.

— Нет, Андрей Петрович, — с участием отозвался я. — Я глубоко жалел и жалею, что такой человек, как вы, с умом, образованием, дарованиями, с пером... — прибавил я.

— И такая свинья! — досказал он.

— Полноте!

— А много я смешил вас?

— Один раз только рассмешили.

— Когда, чем?

— Когда назвали меня пьяницей!

— Ужели? Этого только недоставало: свою шапку на вас надел!

Он глубоко задумался и загрустил. Я на первой же станции подбежал к дормёзу Углицких.

— Что Андрей Петрович? — спросили оба.

— Кланяться приказал! — обрадовал я их.

Они не верили. Лев Михайлыч выскочил из экипажа и побежал к Прохину. Тот уже вылез из коляски и, завидя Углицкого, закрыл лицо руками.

— Скотина, скотина, свинья! — казнил он себя. — Не могу смотреть на вас...

— Полноте, перестаньте, что вы! — успокаивал его Углицкий, — я так рад, так рад, что вы пришли в себя; я очень боялся за ваше здоровье. Но слава богу! — Он даже перекрестился.

— Как вы добры, снисходительны! — говорил сконфуженный Прохин, с чувством пожимая протянутые ему Углицким руки. — Я

не буду больше... по крайней мере, пока буду вам нужен... Я заслужу. Сегодня, когда я пришел в себя, я уже обдумал, какие дополнения надо сделать в записке...

— Об этом после, а теперь пойдете на станцию пить вместе чай. Как жена и Соня будут рады...

— Ах, нет! — отговаривался Прохин, — я не смею показаться им на глаза: ради бога, позвольте подождать до Петербурга, когда совсем оправлюсь, обреюсь и умоюсь... тогда...

Он грустно и тяжело вздохнул.

Так мы мирно, покойно и прилично, как ни в чем не бывало въехали в Петербург.

*Август, 1887 г.*

«...еще одно последнее сказанье...» — слова летописца Пимена в «Борисе Годунове» (1825) А. С. Пушкина.

[^^^]

## 2

«*Time is money*» — «Время — деньги» (англ.).

[^^^]

*Malleposte* — мальпост, почтовая карета (франц.).

[^^^]

*Faux père de famille* — мнимым отцом семейства (франц.).

[^^^]

Суворов [...] *переходил Альпы...* — Речь идет о блестящем итальянском походе русских войск под командованием Суворова в 1799 г.

[^^^]

*Энциклопедисты* — французские философы, ученые и писатели-просветители, объединившиеся вокруг издания знаменитой «Энциклопедии наук, искусств и ремесел» (1751—1780), возглавляемого Дидро и Даламбером. Энциклопедисты выступали против феодально-клерикальной идеологии и тем способствовали подготовке французской буржуазной революции конца XVIII в.

[^^^]

*Под тайными обществами, между прочим, разумелись масонские ложи.* — Масонство — мистическое религиозно-философское общество, возникшее в XVIII в. в Англии и распространившееся во всей Европе, в том числе и в России. Масонская «наука», упражнения в самопознании и самосовершенствовании перерождались в магию и алхимию, в общение с духами и тому подобные квазинаучные мистические бредни. Самостоятельность и таинственность масонских организаций вызвала недоверие к ним и прямые гонения Екатерины II. Демократизация состава русских масонских лож в XIX в., почти поголовное участие в них членов тайных обществ, будущих декабристов, использовавших масонские организации для маскировки своих политических целей и поисков сторонников, — все это привело к окончательному запрещению масонства в России в 1822 г. После событий 14 декабря бывшие масоны подвергались преследованиям.

[^^^]

...«впечатленья бытия»... — из стихотворения Пушкина «Демон» (1823).

[^^^]

...Белинский [...] с задором нападали на Пушкина за то, что тот, — пожалев, что «нет князей Пожарских, что Сицких древний род угас» [...] что теперь «спроста лезут в tiers-état». — См. одиннадцатую статью В. Г. Белинского о Пушкине. В кавычках приведены, не всегда точно, строки из отрывка сатирической поэмы А. С. Пушкина «Родословная моего героя» (1833).

[^^^]

*Tiers-état* — третъе сословие (*франц.*).

[^^^]

...«пружины смелые гражданственности новой»... — из стихотворения Пушкина «К вельможе» (1830).

[^^^]

*...он не мог выносить Кукольника [...] с [...] теплотой отзывался он о повестях того же Кукольника из петровской эпохи... — см. В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, стр. 58—59, 122—124 и 218—223; т. VIII, стр. 174—175, 384—385, и т. X, стр. 488—500.*

[^^^]

# 13

*De mortuis aut bene, aut nihil* — О мертвых говорят хорошо или ничего не говорят (*лат.*).

[^^^]

...«строгие ценители и судьи»... — из монолога Чацкого в 5 явлении II действия комедии Грибоедова «Горе от ума».

[^^^]

*Как прав был Гоголь в своем ответе на упрек, зачем он не вывел в «Ревизоре» ни одного хорошего человека! — В «Театральной разъезде» автор отвечает на упрек в отсутствии положительного героя, что «честное благородное лицо» в комедии «смех».*

[^^^]

*Monsieur est très présentable* — Этот господин  
очень представительен (*франц.*).

[^^^]

*Tolérâit* — терпел (франц.).

[^^^]

*Scrupule* — угрызение совести (*франц.*).

[^^^]

Он так же, как Онегин, помнил и все анекдоты «от Ромула до наших дней» — ср. шестую строфу первой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

[^^^]

*Mauvais genre* — «Дурной тон» (франц.).

[^^^]

*On risque se déclasser!* — Того гляди, деклассируешься! (франц.).

[^^^]

*Allez vous promener!* — Убирайтесь отсюда! (франц.).

[^^^]

*C'est un bon enfant après tout* — Это добрый маль-  
тый в конечном счете (франц.).

[^^^]

*...он жил прежде всего долгами, как отец Онегина...* — ср. третью строфу первой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

[^^^]

*Entre de mauvais draps* — в трудном положении (франц.).

[^^^]

*Figurez-vous* — представьте себе (франц.).

[^^^]

*Gentilhomme russe* — русский дворянин (франц.).

[^^^]

*Il y a une providence pour les malheureux* — Есть провидение для несчастных (франц.).

[^^^]

*Nous étions à sec* — Мы прожились дочиста (франц.).

[^^^]

*Que voulez vous! Nous étions en guerre, et à la guerre comme à la guerre? — Что делать! Мы ведь воевали, а на войне как на войне? (франц.).*

[^^^]

*Bibelots* — *cela m'a coûté les yeux de la tête* — Без-  
делушек — все это мне стояло невероятно до-  
рого (франц.).

[^^^]

*Frache canaille!* — Настоящий мерзавец! (франц.).

[^^^]

*Postillon d'amour* — разносчик любовных записок (франц.).

[^^^]

*Très présentable!* — В высшей степени представительным. «Очень представительен!» (франц.).

[^^^]

*Excusez du peu!* — Только и всего! (франц.).

[^^^]

*C'est juste, vous avez parfaitement, mille fois raison!* — Это правильно, вы, безусловно, тысячу раз правы! (франц.).

[^^^]

*Vous y êtes!* — Именно! (франц.).

[^^^]

*Faites ça, je vous prie!* — Сделайте это, прошу вас! (франц.).

[^^^]

*C'est un gredin, si vous voulez, mais il est versé dans les affaires* — Это плут, если угодно, но он хорошо осведомлен в делах (франц.).

[^^^]

*J'ai fait une belle acquisition* — Я сделал прекрасное приобретение (*франц.*).

[^^^]

*Bongré-malgré* — волей-неволей (франц.).

[^^^]

*Alea jacta est!* — Жребий брошен! (лат.).

[^^^]

*De jure* — юридически, формально (лат.).

[^^^]

*De facto* — фактически, по существу (лат.).

[^^^]

*«Поляк, присланный сюда из западных губерний»* — Тогда, после польского восстания 1830 г., множество уроженцев польских губерний было разослано, по распоряжению правительства, на службу по городам внутри империи. Полагалось, что они обживутся с русскими и сами обрусуют. Вышло противное. Умные, вкрадчивые, большею частью образованные, во всяком случае образованнее нашей провинциальной чиновничьей братии, эти пришельцы занесли с собой польский дух и нравы и вместе с тем привили понятие о политическом режиме Польши и вообще Запада. Эта тихая, самим правительством созданная пропаганда не осталась без влияния на развитие политических идей даже в дальних углах России, где до тех пор о них не было и слуху.

[^^^]

*C'est charmant!* — Это мило! (франц.).

[^^^]

*Sauce madère* — в соусе из мадеры (франц.).

[^^^]

*Pour avoir une contenance* — для вида (франц.).

[^^^]

*Il est présentable, très présentable* — Он представительный, очень представительный (франц.).

[^^^]

*Dans les vignes du Seigneur* — в виноградниках  
господа бога (франц.).

[^^^]

*В «науке страсти нежной» он, как Онегин, должно быть, находил «и муку и отраду» — ср. восьмую строфу первой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.*

[^^^]

*...вроде мемуаров Казановы...* — Итальянский авантюрист XVIII века Казанова рассказывает в мемуарах о своих любовных похождениях.

[^^^]

...в блеске [...] того «хладнокровного разврата», которым, по свидетельству поэта, «славился» старый век — см. начало четвертой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

[^^^]

*Фоблас* — герой эротического романа французского писателя Луве де Кувре (1760—1797) «Похождения кавалера Фоблаза» (1787—1790).

[^^^]

*La favorite en titre* — главная фаворитка (франц.).

[^^^]

*Il m'a joué un tour!* — Сыграл же он со мной штуку! (франц.).

[^^^]

*C'est une idée!* — Это удачная мысль! (франц.).

[^^^]

*Парлефрансе* — говорить по-французски (от *франц.* parler français).

[^^^]

*Delirium tremens* — белая горячка (лат.).

[^^^]